

SCHIRWINDT,  
стертый  
с лица земли

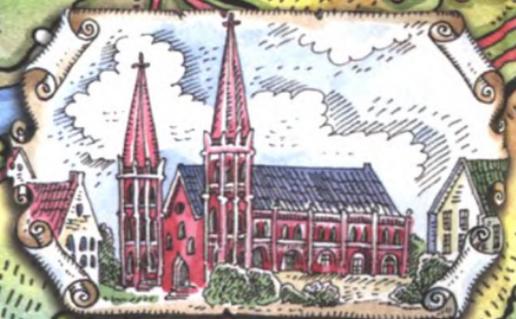
*Александр*

# ШИРВИНДТ

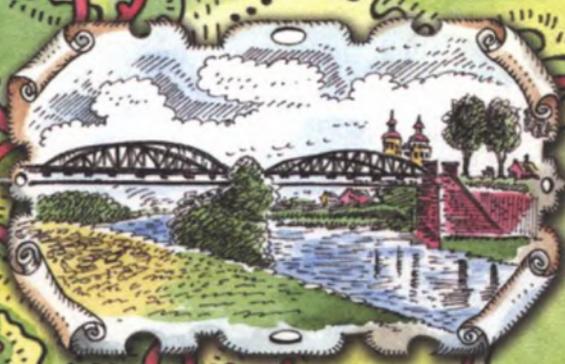
Книга воспоминаний



KÖNIGSBERG



SEP 03 2019



SCHIRWINDT ●



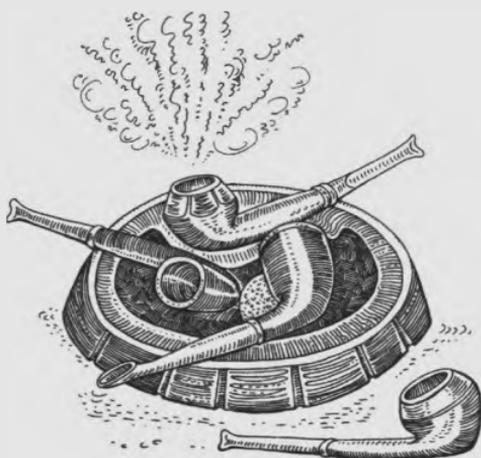
A. Ulysses

**SCHIRWINDT,**  
стертый  
с лица земли



*Александр*  
**ШИРВИНДТ**

Книга воспоминаний



Москва



2006

УДК 82-94  
ББК 85.374(2)-8  
Ш 64

*Оформление художника Ахмеда Мусина*

*Иллюстрации Натальи Колпаковой*

*Фото на переплете Льва Шерстенникова*

*Автор благодарит Юлию Ларину и Юрия Кушака  
за помощь в строительстве этой книги*

**Ширвиндт А. А.**

Ш 64 Ширвиндт, стертый с лица земли / Александр Ширвиндт. — М.: Эксмо, 2006. — 208 с.: ил.

УДК 82-94  
ББК 85.374(2)-8

ISBN 5-699-15458-2

© Ширвиндт А., текст, 2006  
© ООО «Издательство «Эксмо»,  
оформление, 2006

*Рано или поздно наступает время хотя бы  
умозрительно перелистать страницы своей  
незамысловатой жизни.*

*Но непонятно, с какой главы начать, чтобы  
текст не был безвозвратно стерт из памяти.*

*Пришлось обращаться к документам.*

*Они привели к семейным истокам, семейные  
истоки потянули к родословной, родословная  
окунула в Лету.*



Мой замечательный покойный двоюродный брат Бобка — майор-артиллерист — прислал в августе 1944 года вырезку из фронтовой газеты «Освободили Ширвиндт».

Не поленился влезть в архивы. Оказывается, Ширвиндт был самым восточным городом

Германии. Располагался в районе слияния рек Шешупе и Ширвинты. Река почему-то без буквы «д». Как поселение упоминается еще в начале XVI века. Статус города получил в 1725 году во время правления прусского короля Фридриха Вильгельма I. Ну, это знает любой перво-клашка.

Известен немецкий герб Ширвиндта. Он представляет собой щит. Внутри, на голубом фоне, — башня с остроконечными воротами. Внизу — восходящее солнце, символизирующее, что первыми видят его восход жители самого восточного города Пруссии.



В фолиантах значится, что к началу XX века через Ширвиндт стали провозить книги, запрещенные царским правительством. В Ширвиндте был устроен склад марксистской литературы, чем я очень горжусь.

*Историческая справка  
(данные за 1926 год)*

*Территория города — 668 га. Население: 1900 год — 1108 человек, 1910-й — 1195, 1925-й — 1124. Достоин упоминания построенный Фридрихом Вильгельмом IV собор с двумя башнями на рыночной площади, где находился также памятник жертвам войны. В Ширвиндте есть начальная школа (3 класса) и частная школа, евангелическая церковь и синагога, а также дом для престарелых. Имеется чудная зона для гуляний вдоль немецко-литовской границы по реке Шешупе. Есть кладбище с могилами времен Первой мировой войны.*

Военные действия в этом районе осенью 1914 года описаны вольноопределяющимся лейб-гвардии уланского полка поэтом Николаем Гумилевым в «Записках кавалериста»: «В 7 часов утра началось наступление противника на Ширвиндт. Защита сложна, так как мало пехоты... Ширвиндт с трудом держится...»

А 2 августа 1944 года, уже в ходе Второй мировой войны, дивизион капитана Пилипаса 142-й армейской пушечной бригады 33-й армии из района литовского города Вилкавишкис произвел первый артиллерийский залп по Ширвиндту. После окончания Второй мировой войны Ширвиндт прекратил свое существование. 17 ноября 1947 года Ширвиндт был переименован в поселок Кутузово и вошел в состав Краснознаменского района Калининградской области. Более логичное переименование трудно себе представить.

# КП

ТОЧКА НА КАРТЕ

## Был Ширвиндт, да весь вышел

С краеведом А. Б. Губиным мы давно стремились попасть в самую восточную точку на карте нашей области. Уверен, что абсолютное большинство калининградцев сразу, «на вскидку», не назовет ее местоположение. Между тем этот населенный пункт носит сегодня громкое название Кутузово, которых, кстати, в области «несколько».

Эти города, семь веков назад разрушенного ордами Чингисхана; город исчез, а время стерло его останки с лица земли.

Ширвиндта мы не нашли. Его просто нет. Есть несколько военных построек, образующих так называемую «точку». Встретившийся нам местный житель выламывал дверную «опорку из

Сегодняшние историки жалуются (цитирую): «...Ширвиндта мы не нашли. Его просто нет. Сейчас на месте Ширвиндта растут дикие травы и кустарники. Он исчез с лица земли...»

Все ясно! Можно страховочно зацепиться за прусские корни и попытаться снять «кардиограмму» существования на фоне развалин биографии.

Итак, как выяснилось, мой нежный и уникальный папа — пруссак, а мама — одесситка. Роясь по старческой сентиментальности в пыльных семейных бумажках, я наткнулся на справку.

Оказывается, мой папа не Анатолий Густавович, а Теодор Густавович. Просто в те годы иметь в России немецкие корни было даже



Но раз это хрестоматийная истина, то я тоже хочу попробовать собрать разбросанные по жизни камни, чтобы все самое дорогое не валялось где ни попадя, а было в одной куче; чтобы не томиться во времени и пространстве, склеротически застревая в пробках воспоминаний при попытке переезда от одной вежи к другой.

Прежде мечталось назвать произведение «Perpetuum mobile». Но одновременно мечталось, чтобы его кто-нибудь купил. И тогда — в чистом переводе с латыни — книга должна называться «Шило в жопе».

Книга! Но ее же надо как минимум написать. А какая пытка заставить себя сесть за письменный стол. Лежит бумага, лежат ручки — шариковая и перьевая, отточенный карандаш — для правки неизвестно чего. И начинаются муки попытки подсесть к столу.

Наш покойный спаниель Ролик никогда не плюхался спать сразу. Он бесконечно долго крутил по подстилке — ходил, ходил, уже вроде бы опуская задницу, передумывал, опять кружился, кружился, понимая, что надо, что пора, что все равно придется. Но какой-то внутренний дискомфорт мешал ему решиться, ибо надежда умирает последней, а она заключалась в том, что все вдруг вскочат, куда-то помчатся вместе с ним и будет не до сна.

Но вот чертова ручка в руке — и пути к отступлению нет.

Вообще сегодня «мемуаристика» вытесняет с книжных полок Свифта, Гоголя и Козьму Пруткову, а сонмище графоманов, пользуясь безнадзорностью и безнаказанностью, приду-

мывают «документальные» небылицы, забывая подчас, что еще есть несколько живых свидетелей описываемых ими событий.

Литературные воспоминания делятся, как правило, на несколько категорий. Если автор грамотный — он пишет сам, а опытный редактор расставляет знаки препинания. Если автор малограмотный, он диктует свои фантазии на современную технику, а все тот же многострадальный редактор облакает это в форму прозы, и говорун через некоторое время с удивлением узнает, что он писатель.

Заниматься не своим делом — эта страсть наших граждан особенно ярко выражена в тех случаях, когда «свое дело» тоже профессионально подозрительно.

И все-таки! Зачем-то мы родились, зачем-то служим, зачем-то, наконец, живем. Может быть, кто-нибудь и сделает случайный вывод для себя из моих литературных потуг.

...Нужен проект города прошлого! Думал обратиться к своей архитектурной семье, но понял, что для их уровня строить мою биографию слишком мелко. Решил строить как пойдет, а потом уже планировать. У нас так было всегда — зачем переучиваться?

Свое четверостишие повешу на городских воротах:

Молодым — везде у нас дорога,  
Старикам — везде у нас почет.  
Я старик, стоящий у порога  
Жизни, что закрыта на учет.

*Конечно, если бы мой город и фамилия сразу  
были бы Кутузов — наши судьбы, очевидно,  
сложилась бы иначе.*



**Я** много думал об облегченном варианте моей фамилии. Когда был молодым (а это было так давно, что уже — неправда) и работал в «Ленкоме», мы с шефскими концертами ездили по стройкам, воинским частям, даже колхозам. В актерской бригаде был замечательный артист — Аркадий Вовси (племянник

знаменитого в свое время академика Вовси, пострадавшего из-за памятного «дела врачей»). И вот картина: мы отработали концерт, на сцену поднимается какой-нибудь замполит или председатель колхоза и начинает нас благодарить за прекрасное выступление. Вовси с его легкой руки превращается то в После, то в Прежде.

А со мной он справиться вообще не может, ибо не в силах осознать, что в фамилии могут быть три согласные подряд, и облегченно произносит — «Ширвинут». Еще встречались Ширвин, Шервал, Ширман и Шифрин. Имелось даже штук пять неприличных вариантов моей фамилии, но о них не буду из скромности.

Мишка Державин всегда злорадно торжествовал. Но спустя много лет мы с ним были в военном госпитале под Ашхабадом, выступали перед ребятами-афганцами. И там на большой палатке типа клуба (она же — столовая) висела бумажка:

«У нас сегодня в гостях известные артисты  
Дарвин и Ровенглот».

Ну я Ровенглот — это понятно, но чтобы Мишка — Дарвин! Перебор!

В 56-м, когда я оканчивал училище, мне товарищи популярно объяснили, что с моей фамилией в искусстве делать нечего. И на сцене Театра эстрады я дебютировал как Александр

Ветров. Потом опомнился и вернулся на круги своя. С тех пор так и живу — с тремя согласными на конце.



*Чем удобен и выгоден свой город? Все под рукой.  
Захотел окунуться в раннее детство и пройтись  
по Гоголевскому бульвару образца 1937 года — вот  
он. Гуляй — не хочу!*



## ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР

Кто-то врет, что помнит себя с пеленок. Я смутно помню себя шагающим по этому бульвару в детской группе с немецким уклоном — где-то в 3—4 года, а потом, уже осмысленнее, — в 5-летнем возрасте на даче в Ильинском. Обязательно проложу через свой го-

род Казанскую железную дорогу — нет, не всю, не до Казани, а только до дачи.

Кстати, к сведению нынешнего поколения, незадолго до войны на Казанской железной дороге, на всех платформах, продавалось самое вкусное в моей долгой жизни мороженое. Оно было только белое. Называлось оно «облизка». На перроне стоял большой бидон с мороженым, а в руках мороженщицы был агрегат — круглая, как шайба, плошечка с ручкой-поршнем. Мальчика или девочку спрашивали: «Как тебя зовут?» Мальчик или девочка отвечали: «Шура». Мороженщица брала круглую вафельку, на которой было выпечено «Шура», располагала ее на дне плошки, затем намазывала ее мороженым и сверху клала вторую вафлю. Поршнем выдавливалось это сооружение, и получалось колесо с двумя «Шурами». Все это лизалось и съедалось. Если у девочки или мальчика в тот период созревания имелась сердечная привязанность, то можно было одну вафлю заказать с Шурой, а другую, например, с Олей, отчего облизка становилась еще желаннее.

В первые дни войны на этой даче, помню, родители рыли наивные противобомбовые траншеи в саду. И хорошо помню нашу эвакуацию по той же Казанской железной дороге в город Чердынь Пермской области.

Сотрудники Чердынского краеведческого музея имени Пушкина нашли газету «Северная коммуна» за 14 августа 1941 года:

«...в связи с угрозой захвата Москвы в Чердынский район эвакуирована бригада Мос-

ковской государственной филармонии в составе лауреата Всесоюзного конкурса мастеров художественного слова Д.Н. Журавлева... солистки Ленинградского государственного театра имени Кирова К.Н. Ардашевской (балет), заслуженного артиста РСФСР, орденосца, балетмейстера Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова В.И. Вийнонена... солиста филармонии А.Г. Ширвиндта (скрипка) и директора Р.С. Ширвиндт».

Эта бригада отвезла своих детей в Чердынь, а сама уехала обслуживать военные части. Фронтовые бригады — отдельная, героическая, а чаще трагическая страница Великой Отечественной войны. К сожалению, мало и постно зафиксированная историками.

Отвечал я недавно на вопросы корреспондента чердынской газеты.

— Что, — спрашивает, — вы помните с той поры?

— Помню, — говорю, — из глубинки приезжал огромный мужик в тулупе, обаятельный: «Тут артисты, да? Поедем в такой-то район». Так вот — просто. Тогда не было нынешних жуков-администраторов. Меня пару раз брали. Ехали на розвальнях, под тулупом, мороз, снег блестит, похрустывает. Приезжаем. В клубе взрослые дают концерт, а мы в натопленной избе уминаем настоящую вареную картошку, горячие пироги, сало... Еще помню северную природу. Зазубренные ели. Крутой спуск к Вишеру. По обледеневшей дороге вверх карабкается лошадь — понурая, грустная, прелест-

ная. Тащит огромную бочку, и вода из нее выплескивается. Водовоз был моим старшим другом. Я страшно этим гордился. Он видел, как я серьезно, уважительно относился к его делу, и доверял мне вожжи, черпание воды. Так вот я полюбил лошадей. Гораздо позднее, на Московском ипподроме, я понял, откуда истоки этой пагубной страсти... В Чердыни я пошел в первый класс. Учительница была чудесная. Как звали? Шестьдесят с лишним лет прошло! Тут не помнишь иной раз, как себя зовут, а уж учительницу... Да, еще был отличный фотограф там, неподалеку от нас. У него еще имелось ателье. Он запечатлел нашу семью. И снимки поныне сохранились!..

Вот так я умилялся и вдруг получаю очень трогательное письмо:

«Я коренной чердынец, родился и вырос в этом городе, проработал там 26 лет. В 1941 году я учился в той самой школе, о которой говорил в интервью А. Ширвиндт.

Как сейчас помню, на одном из вечеров в честь какого-то праздника дети собрались в актовом зале школы на концерт. Как всегда, основную программу концерта составляли номера ребят из детского дома (у них был очень талантливый директор, любитель художественной самодеятельности). И тут вдруг ведущая концерта, пионервожатая, объявляет: «А сейчас, дети, Алик Ширвиндт сыграет на скрипке». В нашей школе никто на скрипках не играл, а тут — великое удивление.

На сцену вышел маленький мальчик в клетчатой рубашке, в штанишках на лямках, встал среди сцены и заиграл. Что он играл, мы не знали — не объявляли, — но игра понравилась, хлопали усердно.

Учительницу, что учила тогда первый класс, звали Марфа Николаевна Афанасьева. Фотографа, который жил неподалеку от квартиры Ширвиндтов, звали Можаринов Аркадий Иванович. А водовоз, что любезно давал Ширвиндту вожжи и черпак для воды, работал конюхом в конторе агентства «Камлесосплав», которая располагалась неподалеку от их квартиры. Туда же они ходили обедать, поскольку были прикреплены к столовой этой конторы. Так часто поступали с семьями эвакуированных, чтобы хоть как-то облегчить их жизнь.

Мы тоже иногда бывали в этой столовой (в ней работала наша мама) и не раз встречали того мальчика, что играл нам на скрипке.

Когда мы уже стали взрослыми и с экранов телевизора увидели А. А. Ширвиндта, возник вопрос: а не тот ли это Ширвиндт, что выступал на школьной сцене в 1941 году? Выяснилось, что тот...

*Георгий Шестаков».*

Если удастся построить город своего прошлого, обязательно обращусь к Георгию с просьбой быть там главным архивариусом.

Что касается моей музыкальной карьеры, то триумфом на сцене чердынской школы она

не закончилась. Побывал я и на столичных подмостках. Чтобы не быть голословным, привожу документ.



Как видите, издевательства над моими ФИО начались с детства: кроме отсутствующего в конце «т» еще подозрительное «С» в начале имени. Это, очевидно, Саша, ибо я могу официально быть Александром, Аликом, Сашей и Шурой. Был всяким — умру Шурой.

Мое среднее образование по возвращении из эвакуации продолжилось уже в элитной московской 110-й школе. Учился я жутко, и, если бы не мамины школьные концерты, меня бы вышибли.

Мама, будучи редактором Московской филармонии, дружила с такими великими творцами середины прошлого века, чьи фамилии даже неловко произносить — подумают, я заболел манией величия. И чем катастрофичнее складывалась моя школьная судьба, тем мощнее выглядел состав очередного концерта для родителей и подшефных. Флиер и Козловский, Журавлев и Обухова, Рина Зеленая и Плятт томились в кулисах маленькой школьной сцены, пытаясь в складчину закончить вместе с оболтусом своей подруги школу №110.

Главная беда была — химия. На выпускном экзамене я с ужасом узнал, что химии — две: органическая и неорганическая. Мне одной-то было через голову. Перед экзаменом наши умельцы взорвали в кабинете дымовые шашки, в дымовой завесе украли билеты и пометили мне один точечками с обратной стороны. Всю ночь, как попугай, я повторял какие-то формулы. На следующий день вытащил помеченный билет. Словно автомат, лепил ответ, но попался на дополнительном вопросе: «Как отличить этиловый спирт от метилового?» Я вспомнил, что от одного слепнут, а из другого делают водку. И начал: «Возьмем двух кроликов. Капнем им в глаза разного спирта. Один — слепой, а другой — пьяный».

Мне поставили тройку условно, взяв с меня обязательство никогда в дальнейшей жизни не соприкасаться с химией. Что я честно выполняю. Кроме разве прикосновения к спирту, хотя до сих пор не знаю, что я пью — этиловый или метиловый. В связи с тем, что вижу все хуже и хуже, думаю, что пью не тот.

У нас в школе был довольно сильный драмкружок. Примами считались Леня Глейх и Вадим Маратов, ставшие потом очень хорошими артистами. Меня они иногда брали что-то им подыгрывать. Помню свой дебют на драматических подмостках. Играли сцену из «Бориса Годунова». Стоял школьный стол, покрытый до пола зеленым сукном. Леня Глейх — Пимен с седой бородой, наклеенной на испуганное еврейское личико, а Вадик — Самозванец. Я же всю сцену сидел под столом и немного шатал его, чтобы пламя свечи на столе колыхалось. Это было таким потрясением для зрителей: душный маленький школьный зал — и вдруг пламя колышется, как на ветру. А это я.

Наш класс можно вносить в Книгу рекордов Гиннеса. Два сумасшедших однокашника-старичка уже пятьдесят пять лет собирают всех наших — кто еще остался живой и кто не уехал в Израиль или Америку. Более того, недавно уже из Америки приезжали. Сережка Хрущев, к примеру. А у нас есть один почти генерал, мой замечательный школьный друг. Он, начиная с пятого класса, каждый год вы-

пускает фотографическую стенгазету, которая называется «Колючка». Там под каждой физиономией — четверостишие. Как был у него «ФЭД» пятьдесят лет назад, так и остался, и он снимает им до сих пор. «Колючка» вывешивается каждый год в том кабаке, где мы проводим традиционный сбор. Он приходит заранее и разворачивает этот рулон. Такой портрет Дориана Грея наоборот. Страшная картина: начинается с двенадцатилетних рож, а кончается семидесятилетними. Мемориал советского среднего образования.

*Мой город надо реставрировать сразу в процессе  
его застройки, а то будет поздно.*

*Вот Питер к 300-летию весь накрашили, и наехал  
миллиард иностранцев. А у меня там много  
знакомых старух живет, блокадниц.*

*Народные артистки, между прочим.*

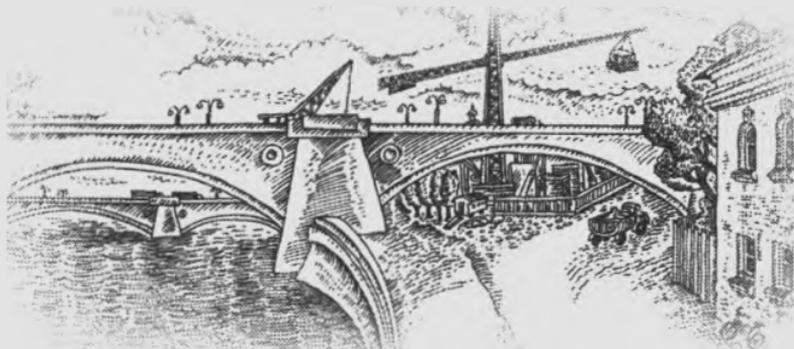
*Они показывали мне новые карточки:*

*«макаронные изделия — скидка 10 процентов»,  
«спички — 15 процентов». Когда снаружи  
замалевали весь Питер, а всю срань занесли  
во дворы, так что войти страшно, этих моих  
старух позвали куда-то, дали еще талонов  
на что-то бесплатное и попросили:*

*«Вы живете в шикарных исторических домах,  
а во двор войдешь — ужас. Берегите честь  
родного города!» И мои старухи стояли*

*за макароны у ворот и не пускали иностранцев:*

*«Во двор нельзя! Частная собственность!»*



## КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Сейчас я живу в доме на Котельнической набережной. В первой сталинской высотке. Конечно, не с моими финансами возводить в городе Ширвиндте высотное здание — тут нужна рука Москвы, поэтому пока оставим строительство небоскреба в области мечты и поговорим о нынешнем моем жилье.

Обменялся сюда случайно лет сорок назад. Это микрогород, отданный когда-то Сталиным под заселение самым-самым. Паустовский и Твардовские, Раневская и Ладынина, Роман Кармен и Никита Богословский, Клара Лучко, Канделаки, Лидия Смирнова, Уланова и так далее и так далее. Сейчас картина, с точки зрения личностной мощи, конечно, поуже, но зато сегодняшние хозяева жизни скупают у испуганных потомков по несколько

квартир на этаже, соединяют в витиеватые архитектурные ансамбли и обитают в этих лабиринтах, боясь не отличить при реконструкции несущую стену от ненесущей. И вот бедные стены нашего дома несут на своих древних плечах груз ответственности за безнадзорность.

Не все, конечно, из старой гвардии сразу решаются и, сидя на пенсии с поджатыми от ненависти губами, отбиваются от заманчивых предложений. Одной из последних сдалась моя давнишняя подруга-соседка, вдова крупного генерала. «Никогда, ни за что я не пущу в родные стены эту шпану!» — всякий раз восклицала она при нашей встрече. А недавно тихо остановила меня во дворе и стыдливо сказала: «Александр Анатольевич, продаю! Мне их рекомендовали верные люди. Они и внешне не похожи на «этих», — она указала рукой куда-то вообще. — Но я хотела у вас спросить: не могли бы вы помочь найти мне евреев для ремонта? Они поставили такое условие. Я в растерянности...» Пока я дотумкал, что они требуют от нее евроремонт, прошло некоторое время.

Из чего складывается индивидуальность?  
Из непредсказуемости.

От меня можно ждать всего или... ничего. Я, например, не умею отдыхать. Я умею работать или ничего не делать. Я ем вареный лук. Не прикидываюсь — люблю. Несут со всего дома много и охотно, при этом даже как бы

возвышаясь в собственных глазах: ну еще бы, народного артиста подкормили! Я реально вижу весь процесс: хозяйка варит щи, вылавливает из кастрюли склизкий кругляш, подносит его к помойному ведру и тут вспоминает, что в третьем подъезде живет сумасшедший, который жрет эту мерзость. Кладет лук на блюдечко и несет мне. Тут надо быть бдительным и понять по состоянию луковицы, не поздно ли обо мне вспомнили и не попала ли луковица на блюдечко уже из ведра.

Ну, а если даже из ведра? Цивилизация и высокие технологии сегодня проникли во все слои общества. В нашем доме два крыла расположены очень далеко друг от друга. И вот у двоих из бомжей, которые каждое утро рожутся в мусорных баках, есть сотовые телефоны. Бомжиха звонит своему дружку на другое крыло здания: «Ветчинку не бери — я взяла, а вот сырка нету». Они сервируют себе завтрак.

Из великих друзей в моем доме сохранился лишь внук Дзержинского — Феликс Иванович Дзержинский. Он мой коллега — бывший артист «Москонцерта». Работал с покойным папой жонгльж русскими самоварами. Объездили весь мир, выступали под псевдонимом Вобликовы, ибо, наверное, непедагогично было, если бы в какой-нибудь коммунистически настроенной африканской стране перед дикарями два Дзержинских жонглировали сувенирными ложками.

Сейчас Феликс на пенсии и охраняет платную стоянку у нашего дома. Он человек темпераментный и смелый. Когда очередной министр МВД — Куликов — начал резко бороться с проституцией и в процессе борьбы понял, что росчерком пера половую жизнь половины человечества не убьешь, он пошел на постепенные меры: запретил путанам «парковаться» в центральных районах столицы и определил им место оседлости в сквере у слияния Москвы-реки и Яузы — прямо перед фасадом нашего дома. Старые большевики, а точнее — старые большевички, еще фрагментарно доживающие в доме, задохнулись от ужаса и гнева, но сил бороться у них уже не было. Тогда железный Феликс собрал горстку старух и с плакатом «Мы с Ширвиндтом этого не допустим!» внедрился в армию жриц любви. И Куликов с проститутками отступили.

Феликс трогательно следит за моим творчеством и машиной моей жены. Посещает Театр сатиры и, если ему нравится, обнимает меня и спрашивает: «Какую водку тебе купить за доставленное удовольствие?» Так что за водкой у меня бегают Феликс Дзержинский. Не всякий может таким похвалиться.

Для моего поколения словообразование «рыночная экономика» ассоциируется только с рынком — об экономике мы ничего не знали и даже боялись догадываться. Обязательно построю в Ширвиндте колхозный рынок.

Раньше на рынок ходили лишь по очень большой нужде. Когда мой сын Миша первый раз решил жениться, меня послали на рынок за мясом в семь утра, к открытию. У меня там был знакомый рубщик Семен — огромный конопатый еврей.

Стоит Семен с топором, к нему — очередь колхозников с тушами наперевес. Пробираюсь, говорю, что меня просили принести ногу килограммов на пять, чтобы запечь. «Маня!» — кричит Семен. Бежит Маня с коровой на плече. Семен корову разделывает, отрубает для меня часть ноги. Но мне почему-то кажется, что другая часть помясистее будет. Я ему деликатно на нее намекаю. Он швыряет мой кусок на разделочную тумбу и орет на весь рынок: «Вот нация! Ему уже делают, а он не верит!»

Из-за ностальгии сегодня хочется также построить в Ширвиндте не супермаркет с развалом неслыханного продовольственного разнообразия, а элитный гастроном 60-х. Таким в нашей округе был гастроном в высотке на площади Восстания.



В славные 60-е этот шедевр советской небоскрёбии стоял на четырех продовольственных «китах».

Ближе к Садовой, наискосок от бывшего института усовершенствования не то учителей, не то врачей, как краеугольный камень советского пищеварения, висел гастрономический отдел: рожки или вермишель, геркулес, сечка-гречка, манка, хлебобулочные изделия и выпечка (безграмотная тавтология — либо хлеб — это не изделие, либо булка — это не хлеб, и все это не пекут), сыр плавл. «Дружба», сметана разливная — в банки заказчика, сигары кубинские.

На углу, ближе к американскому посольству, — мясная гастрономия: колбаса за 2 р. 20 к. — несбыточная постперестроечная мечта ком-

мун. электората, микояновские котлеты (интересно, сам Микоян их когда-нибудь пробовал?), которые смело могли бы лежать в отделе «Сухари», колбаса ливерная в кишке настоящей — для банкетного стола студенчества, сигары кубинские.

Над кинотеатром «Баррикады» органично возвышался мясной отдел: куры синие, кости неизвестного домашнего животного — так наз. мослы, незаменимые для холодца, срезы свежие (для молодежи поясню, что срезы — это не большая фантазия злопыхателя, а вполне мясной продукт — тонкая жилистая пленка, что имеется у съедобных млекопитающих между собственно мясом и собственно костью; подходят к рожкам и для мясной солянки), сигары кубинские.

И, наконец, в стыдливый 4-й угол был загнан рыбный отдел — непредсказуемость выставленных продуктов заставляла скрывать его от глаз политического недоброжелателя. Там рядом с органичными в рыбном отделе кубинскими сигарами могла засверкать зернистая или (слюна пошла от воспоминания) паюсная икра. Вдруг, как раздавленная гигантским асфальтовым катком, шлепалась на весь прилавок камбала, или неожиданно в мраморные пересохшие джакузи начинала сочиться вода, и туда ныряли живые представители карповых. Пиком рыбного развала являлся скромный «ценник» (так называлась мятая вонючая бумажка, на которой хим. карандашом была нарисована цифра, обозначающая размер рублевой значимости лежащего под «цен-

ником» продукта), покоящийся над пирамидой черепов типа верещагинского «Апофеоза войны» — где было по-русски написано: «Головизна осетровая». Это разного размера черепа осетров, гильотинированные под самые жабры, с выпученными от предыдущих кулинарных пыток глазницами. Я, по молодости и глупости, всегда спрашивал себя — сколько же нужно сожрать там, где их жрут, осетровых тел, чтобы всему оставшемуся московскому населению с лихвой хватило одних только черепов...



*Когда фантазировалось, как построить мой город-книгу, как связать бессвязные воспоминания и впечатления в нечто целое, на помощь пришел многолетний эстрадный опыт. В смешанных (или сборных) концертах разножанровость исполнителей цементировалась бывалым конферансье. В его арсенале было два оружия: подводка и связка — прошу не путать.*

*Подводка — это когда перед именем исполнителя произносится дифирамб, одобренный почетными званиями, а связка — это когда конферансье якобы импровизационно говорит:*

*«Вот я сейчас наблюдал великолепное выступление нашего любимого такого-то, и мне пришла в голову мысль...» Мысль в голове заключалась в том, что не пора ли выпустить на сцену уникального... — дальше шла подводка.*

*По этой проверенной схеме я и сооружаю свой город-повествование.*



## ЭСТРАДНЫЙ ТУПИК

Мечта выйти на эстрадные подмостки зародилась еще на студенческой скамье. Не у меня одного. Мы кончали театральные вузы — Михал Михалыч Козаков — мхатовский, я — вахтанговский, и решили сразу по окончании блеснуть в концертах (так что Державин — не первый Михал Михалыч в моей сценической судьбе). Блеснуть надо было, говоря языком нынешних «философов», «однозначно», но блистать оказалось не в чем.

В Москве были два знаменитых закройщика — Затирка и Будрайтис. Они шили только элите — в основном литературной, иногда — актерской. Наши мамы посчитали, что раз мы все-таки доползли до диплома, то заслуживаем вознаграждения. Наши мамы были дамы, плотно связанные со всей богемной знатью. Они скооперировались, подкупили черного крепа и пошли клянчить, чтобы Будрайтис

сшил детям двубортные костюмы. Добились. И Будрайтис, у которого шили Погодин, Корней Чуковский, Светлов, Маршак, Михалков, брезгливо занялся двумя испуганными худыми галчатами.

Из материала, что набрали мамы, можно было, по-моему, скроить шесть костюмов. Он сшил два одинаковых двубортных шкафа, и мы, совершенно, не разгибаясь и не сгибаясь, от него вышли. Тут же поехали к Аркаше Арканову, который тогда еще учился на врача, но тяготел к чеховской традиции, и сказали: «У нас замечательная задумка — нужно выходить на эстраду». Арканов спросил, что за задумка. Мы выложили идею: Козаков появляется из левой кулисы, я — из правой, мы медленно идем в одинаковых костюмах и встречаемся в центре сцены. На этом замысел заканчивался. Арканов сказал, что идея интересная. И сел писать...

Прошло 50 лет — костюмы истлели, Арканов пишет.

В ожидании аркановского шедевра мы по счастливой случайности попали в поле зрения знаменитого филармонического чтеца Всеволода Николаевича Аксенова. Он в Зале имени Чайковского читал литературно-музыкальные композиции «Эгмонт» и «Пер Гюнт». Конструкция представления была такова: Большой симфонический оркестр под управлением Амосова, перед ним, в центре, — красавец Аксенов, а между оркестром и красавцем на нескольких стульях сидела, как воробьи на высоковольтных проводах, группа подыгрывающих партнеров.

Партнеры, по замыслу премьера, должны были быть хорошенькие, прилично одетые, молодые, но абсолютно «зеленые» и бездарные, чтобы оттенять солиста. Мы с Михал Михалычем Козаковым подходили стопроцентно. Загвоздка состояла в том, что при наших элитных костюмах черные ботинки у нас были одни на двоих, но так как партнерствовали мы Аксену не вместе, а по очереди, то, «отыграв», я плюхался рядом с Михал Михалычем, молниеносно под стулом мы менялись ботинками — я напяливал какую-то желтую жуть, Козаков всовывался в черноту и выходил к Пер Гюнту.

На этом наше с Козаковым стремление к эстраднему Олимпу не закончилось. Уже будучи архизнаменитым артистом Театра Революции, сыграв Гамлета у Охлопкова и снявшись в киношлягерах «Убийство на улице Данте» и «Человек-амфибия» (в общем, он был знаменитым, но бедным, а я просто бедным), Козаков вспомнил о нашей юношеской мечте и призвал меня к очередным авантюрам. В то время у Охлопкова шел нашумевший патриотический спектакль «Молодая гвардия», где Эммочка Сидорова играла Любку Шевцову, и кульминацией роли была лихо поставленная сцена, в которой два подвыпивших эсэсовца заставляют Любку танцевать для них на столе, глумясь при этом нещадно.

Козаков в том спектакле не играл, а я вообще работал в другом театре, но жажда славы и денег не знает границ. И Михал Михалыч, выкрав из театра две эсэсовские фуражки и

повязки со свастикой, уговорив Эммочку и меня, а также милого театрального музыканта, который на баяне должен был имитировать немецкую губную гармошку, погнал нас по концертному марафону. Свастики очень хорошо читались на наших двубортных мундирах, репетировать было недолго, ибо вся тяжесть зрелища лежала на хрупких Эмминых плечах, а мы с Михал Михалычем, вальяжно развалившись на стульях, пьяно орали: «Шнель! Шнель!», закинув ноги на стол, где мучилась под баян Эмма Сидорова...

Номер имел зрительский успех — приглашения сыпались, гонорары росли, мы обнаглели и стали подумывать о второй паре черных ботинок, но...

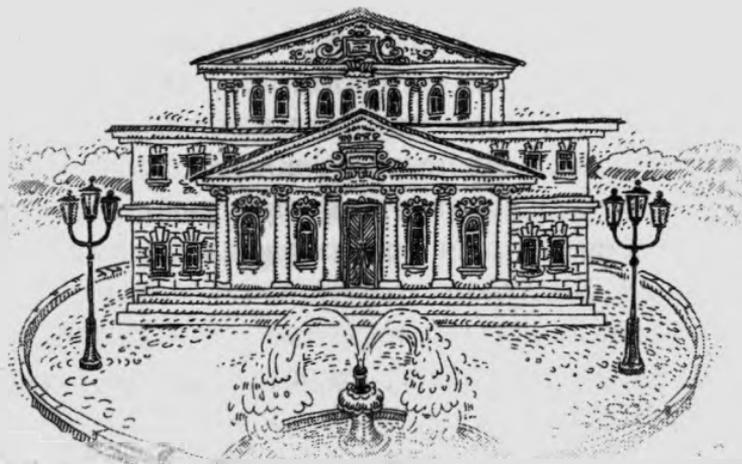
Прошла уйма лет, а я как сейчас помню последний выход с этим скетчем.

Шел концерт в Высшем техническом училище имени Баумана. До отказа набитая студенческая аудитория. В закулисную часть сцены нет отдельного входа, и артисты идут на подмостки через весь зал и через него же уходят, отвыступав. И вот мы, в очередной раз понадругавшись над Сидоровой, привычно засунув под мышку эсэсовские фуражки и стыдливо прикрыв рукой свастики на рукавах своей двубортности, пробиваемся через зрителей к выходу. В самом конце зала, прямо перед дверью в фойе, на приставном стульчике сидит очаровательная интеллигентная девушка в очках. Когда мы поравнялись с ней, она подняла на нас огромные, полные ужаса и сострадания глаза и тихо спросила: «И вам не стыдно?»

Больше мы Любу Шевцову не пытали.

*Глупо, конечно, не попробовать построить в моем городке театр. Но нужна творческая платформа, театральная идея, единомышленники — где взять?*

*Значит, надо реанимировать подмости, на которых работал. Поскольку три театра в провинциальном городе — перебор, построю один с элементами всех: фасад Театра имени Ленинского комсомола (на вечной доске: «Здесь выступал на съезде комсомола В.И. Ленин» — додолблю: «а потом работал А.А. Ширвиндт»), зрительный зал Театра на Малой Бронной — он поуютнее, и фойе Театра сатиры — там, на вернисаже актерских лиц, я — первый, потому что худрук, а это возвышает.*



## ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Актерская слава изначально зиждется на признании близких, прежде всего родителей. Они — первые критики, рецензенты и популяризаторы своих гениев. Моя бедная мама, которая воспринимала творчество сына на слух (к концу жизни она совсем ослепла), однажды чуть было не лишилась ближайшей подруги Розы.

В Театре имени Ленинского комсомола новый год начинался с детских утренников по узбекской народной сказке «Чудесные встречи». Однажды я заменял на этом утреннике загулявшего накануне актера. Он играл эдакого этнического горниста с двухметровой трубой. От меня требовалось выйти на сцену и про-

трубить в эту узбекскую дуду. Как назло, на спектакль угораздило прийти тетю Розу с внуком. Они удобно устроились в первом ряду и приготовились наслаждаться спектаклем. Тут появился я в пестром потном халате, пропердел в эту дурацкую трубу и ушел навсегда. Потрясенная тетя Роза позвонила маме: «Рая, я видела Шуру. Это трагедия!»

Мама сказала Розе, что это всего лишь случайность, что в театр пришел Эфрос и я у него взорлил.

Тетя Роза, уже без внука, попала на премьеру спектакля по пьесе Розова «В день свадьбы», где в финале вся труппа гуляла на сельской свадьбе. Мы с Державиным стояли у крайнего стола с подозрительно колхозными лицами и кричали: «Горько!» Роза позвонила маме и сказала: «Рая! Он тебе все врет! Ему надо срочно искать профессию!»

К сожалению, Роза в этом диагнозе оказалась не одинока.

В своей последней книжке Марк Захаров написал, что «Ширвиндт, наверное, все-таки не артист... Тем более не режиссер. Если спросить, кто он такой, отвечу, что профессия у него уникальная. Он — Ширвиндт». Марк, выпустив книжку, позвонил узнать, как я отнесся. А как я отнесся?! Хамские, конечно, строчки, но он прав. Нет во мне этой лицедейской страсти. Есть актеры патологические, физиологические. Они не могут не играть. И есть актеры, ставшие таковыми, ну, в силу обстоятельств, что ли. Я из вторых. Хотя первым всегда зави-

довал. Вот покойный Владимир Басов — замечательный режиссер, а не мог не играть. Включишь телевизор, а он в какой-нибудь детской передаче под кочкой сидит — и счастлив. Хоть водяного, хоть лешего, хоть кота, хоть сморчка озвучивать. Табаков такой, Гафт. Миронов таким был. А я играть ведь не очень люблю. Репетиции люблю, премьеры. А вот выходить на сцену в солом спектакле — скучно. Иногда я думаю, что все-таки с профессией не угадал.

Правда, с Олегом Ефремовым связан один драматически несложившийся поворот моей профессиональной жизни. Несбывшаяся великая мечта. Несбывшийся театр. Когда нависла угроза сноса «Современника» — не как коллектива, а как дома на площади Маяковского у гостиницы «Пекин», — замаячила возможность переселиться театру в Дом киноактера на улицу Воровского. Тогда Иван Пырьев только построил новое здание Дома кино на Васильевской. А Пырьев, возглавлявший в ту пору Союз кинематографистов СССР, театр не любил, начинал блевать, когда слышал слово «театр». Особенно его бесило, если на сцене играли киноартисты. Он называл это порнографией и, может, был не так уж далек от истины. Ефремову тогда собирались отдать здание на Воровского. Мечта овладела Олегом, он меня вызвал в ресторан, и под литра полтора выпитой водки мы провели свой «Славянский базар», доведенный до абсурда. Он залетал в гибельные выси, силой своей жуткой убедительности рисуя мне картину единственного

в мире театра, где внизу, на большой сцене, он, Олег, будет творить свое, вечно живое, глубоко мхатовское, а я наверху, в уютном маленьком зальчике, буду заниматься своей «х...ней». «Открываемся двумя сценами, — мечтал он. — Внизу, на основной сцене, — «Вечно живые». А вверху ты, со своей...»

В этом противопоставлении не было ничего обидного. Напротив, собирательное существовательное ласкало слух и распаяло воображение. Он видел в этом соединении возвращение к мхатовской многокрасочности. Там, внизу, настоящее, глубокое, психологическое, а наверху — я.

Помещение на Воровского не дали, и мечта растворилась.

Мы с Олегом дружили, но виделись редко. Вспомнили про этот проект, когда встретились незадолго до его смерти на юбилее замечательного журналиста Егора Яковлева в ресторане «Гастроном». Туда была приглашена вся Москва: от Горбачева до последних живых диссидентов. Я даже подумал: взорвись здесь бомба — конец демократии. Как обычно, что-то произносили, шутили. В разгар веселья я стал тихонько собираться на выход. А в тот момент как раз уводили Олега. Он уже не мог долго без кислородной машины. Мы столкнулись в холле. Он подошел, обнял меня, буквально повис на плечах и говорит: «Мы просрали нашу с тобой биографию, Шура». И ревет. И я реву. Так вдвоем и стоим. Через месяц его не стало.

У меня была в нашей компании кличка Маска. Очевидно, не случайно. Просто в молодости я увлекался Бастером Китонем из ранних американских фильмов и Анатолием Кторовым из настоящего МХАТа, которые пленяли меня каменностью лиц при любых актерских переживаниях и сюжетных катаклизмах. Внутри все кипит и бушует, а на лице — маска. Очень удобная придумка. Я ее взял на вооружение в свои актерские арсеналы.

Не устаю повторять студентам, что четыре года театрального образования — это, помимо приобретения разных навыков, попытка понять, что ты можешь, что не можешь, что тебе идет, что нет. Улыбаться тебе идет. Сердиться нет. Смеяться идет, но не очень. И так далее и так далее. Отсюда складывается амплуа, с которым тебе дальше работать. Его можно преодолевать, его можно ломать, но нельзя делать вид, что его не существует.

Сегодня эпитет «великий» стал расхожей монетой, звезд пекут на фабрике, и капризная косноязычная дива мяучит с экрана, что «нам, звездам, трудно»... Все это сонмище звездорванок заполняет нестойкие души зрителей, размывая понятия и градации.

А великие были. Мой любимый актер — Николай Гриценко. Амплитуда его дарования была бесконечной. Помню, как он репетировал милую французскую пьеску «Шестой этаж». В ней все происходило на лестничной

площадке какого-то дома в Париже. И вот Николай Олимпиевич выпросил у Рубена Николаевича Симонова возможность самому поставить этот спектакль. Никогда в жизни он режиссурой не занимался.

Нас, студентов, вывезли тогда в Киев на гастроль вахтанговского театра — играть в масовках «Великого государя» и в «Двух веронцах». Киев. Лето. Все ведущие артисты расхватуны прямо с вокзала по обкомовским, цековским дачам и пляжам. А Николай Олимпиевич посреди этого гастрольного разгула репетирует в духоте и жаре на сцене Театра Леси Украинки. Я сидел в зале и смотрел, как мучаются мэтры — Максим Греков, Лариса Пашкова, Нина Нехлопоченко и Владимир Осенев. Это была мистика. Николай Олимпиевич стоял посреди зала в проходе. «Стоп, стоп, стоп! Максик, ты понимаешь, какая история. Вот ты выходишь и говоришь: «Здравствуй!» А он — француз. Понимаешь? Ты говоришь: «Здравствуй!», а что «Здравствуй»? Ведь он француз. Или ты, Лариса, выходишь и говоришь: «Здравствуй, Польша!», а она француженка. А он француз. А ты: «Здравствуй, Польша!» А потом ты выходишь и говоришь: «Чего это вы?» А он француз».

Актеры, мысленно купаясь в Днепре, начинают снова. Он опять: «Стоп, стоп! Максик, ну ты что? Ты говоришь: «Привет!» А он француз». И так — до бесконечности. Тогда Греков просит Гриценко: «Коля, покажи». И Коля, который дальше Малаховки никуда в жизни не вы-

езжал, выходит и играет четырех французов — двух баб и двух мужиков. Тонко, изящно, разнообразно и лихо. Вот что такое божеское.

У каждого человека к определенным годам, если человек здравомыслящий и не до конца закомплексованный, наступает ослабление чувства профессиональной зависти.

«Да ну, — думаем мы, — если поднатужиться... Ах, это уже было! Ах, это мы уже делали!..»

Остро завидуешь только одному — тому, что не приходило и не могло прийти в голову.

Вот Анатолий Папанов был субъектом крайне индивидуальным, парадоксально мыслящим. Бывало, вякнет Папанов какую-нибудь реплику, отсмеются окружающие, и понимаешь: да, всю жизнь сиди, мучайся — никогда бы не придумал.

Театр сатиры летел на гастроли в Милан. Мы — давно в воздухе, вдруг объявляют, что по техническим причинам будет дозаправка в Лихтенштейне. Сверху это карликовое государство — как театральный макет: домик-домик, садик-садик, капельки бассейнов, булавочки башен... Снижаемся, снижаемся, но от самой земли неожиданно вновь взмываем вверх и улетаем. И тут Толя говорит: «Да-а, не вписались в страну!»

Ощущение, что таланту все дозволено и обаяние победит, иногда приводит к театральным катастрофам.

Федор Михайлович Бурлацкий, известный американист, написал почти документальную пьесу «Время решений», где артисты Театра сатиры под руководством Плучека решали, бомбить Кубу или не бомбить. Андрей Мионов играл Кеннеди, Державин — Роберта Макнамарру, министра обороны, Юрий Васильев — брата Кеннеди, я — советника по печати президента Пьера Сэлинджера. Диденко играл Фрэнка Синатру, Рая Этуш — Жаклин Кеннеди, Алена Яковлева — Мэрилин Монро. Мы себе ни в чем не отказывали. Спектакль прошел раз десять.

Наш незабвенный, штучный артист и человек Спартачок Мишулин исполнял в этой фантазмагории роль начальника американских штабов Томсона и не мог выговорить слова «бомбардировка». Державин посоветовал ему написать это слово на бумажке. И Спартак Васильевич в арифметической тетради для первого класса дочки Карины большими буквами вывел: «Бомбардировка». Он скатывал листок в трубочку и входил с ним в Овальный кабинет. Там он распрямлял листочек и по слогам читал: «Предлагаю начать борбан... банбар...» Весь Овальный кабинет отворачивался в судорогах. И вот очередной спектакль. Выходит Мишулин и произносит: «На понедельник, — все ждут мук с «бомбардировкой», — назначен бомбовый удар по Кубе». Это уже было нам не под силу. А у Андрея — текст, который он произнести не в состоянии. Вдали сидит Владимир Петрович Ушаков, игравший будущего

президента Соединенных Штатов Линдона Джонсона. Миронов ему: «Линдон, а вы что молчите?» Тот говорит: «А почему я? У меня вообще здесь текста нет».

Вышла замечательная рецензия на этот спектакль, после которой его и закрыли: «Вчера в Театре сатиры силами «Кабачка «13 стульев» был разрешен Карибский кризис».

Страшная актерская болезнь — привыкаемость к узнаваемости. Ужас этого недуга в том, что узнаваемость подчас исчезает, а привыкаемость к ней — никогда.

Тот же Спартак Васильевич Мишулин. Семидесятые годы. У площади Маяковского был тогда, если ехать от Белорусской, левый поворот на Садовую. А Мишулин как раз там жил — угол Садовой и Чехова, в первом актерском кооперативе, который раньше назывался «Тишина» (в этом доме ночью ощущение, что спишь на проезжей части Садовой). Спартак Васильевич в то время был пан Директор из «Кабачка «13 стульев», и его знала каждая кошка. Он только что купил машину и, будучи молодым автомобилистом, плохо ездил. Боясь, что не успеет перестроиться в левый ряд, он от Белорусского вокзала двигался по осевой. Сзади гудели, но он не уступал. И вот едет он, а на перекрестке — постовой. Раньше встречались такие постовые, которые и летом стояли с обмороженными лицами. Они были обморожены навсегда. Стоит этот младший сержант —

ему лет 65, дослужился. И он стопорит на осевой Спартака Васильевича. Мишулин привычно открывает окно, делает челку, как у пана Директора, и его голосом говорит: «Привет!» Постовой ему: «Что привет? Документы!» Тот говорит: «Я пан Директор». Постовой: «Чего ты пан?» Оказывается, он не смотрит телевизор. И Спартак Васильевич становится совершенно беззащитным.

Важно, чтобы сумма долголетней узнаваемости переходила в славу. То есть количество в качество. Пик моей славы был покорен недавно. Случайно забежав в уличный туалет и недолго там задержавшись, я при выходе протянул смотрительнице полагающиеся 10 рублей и услышал в ответ: «Что вы! Что вы! Для нас это такая честь!»

Популярность всегда компенсировала нищенскую театральную зарплату.

Система оплаты авторского труда в театре отличается от цирковой. Если драматург решил написать пьесу, взял аванс, потом еще, а потом у него ничего не получается, аванс остается. В цирке — по-другому. Их система — гениальное изобретение. Мы с Аркадием Аркановым писали для режиссера Арнольда — был такой цирковой Станиславский. Мы к нему пришли, молодая нахальная шпана, он объяснил, какая нужна реприза. Мы написали, принесли. Он поблагодарил, а о деньгах молчит. Потом с этой репризой клоун Борис Вяткин выходит на арену. И вот если публика ре-

призу приняла, на следующий день получите ваши деньги. А если в цирке тишина, то — извините, до другого раза.

В советском театре материальные блага заменяли наградным эквивалентом. В Театре имени Ленинского комсомола был знаменитый спектакль «Семья». Пьесу написал Попов, который был секретарем Ленина. Ставила спектакль Софья Владимировна Гиацинтова, гениальная женщина, иронично-садиистского ума. Ставили и возобновляли спектакль несколько раз, ибо все время хотели Сталинскую премию. Но в пьесе не хватало Сталина. Ленина было навалом, а Сталина нет. Наконец в последнем варианте в финале спектакля Ленин произносил речь и, показывая на смуглого красавца, представлял Кобу как надежду на все. Ленин уверял, что мы победим, сверху спускалось красное знамя и реяло над ним. Знамя закреплялось за крюк на колосниках. Рабочий сцены, чудный мальчик, даун, весь спектакль торчал на верхотуре и в финале цеплял за этот крюк знамя. И как раз в тот день, когда пришло ЦК решать, можно ли выдвигать спектакль на Сталинскую премию, мальчик то ли заснул, то ли отвлекся, и на штанкете на Ленина опустился огромный ржавый крюк. Премию не дали. Дауна выгнали.

Вообще при театральном производстве неожиданности подстерегают на каждом шагу, ибо театр — учреждение с огромным спектром профессионального разброса.

И все же самые опасные люди в театре даже не артисты. Самые опасные — это старушки на служебном входе. Они абсолютно очаровательны и совершенно невыносимы. Когда меня назначили худруком, я должен был срочно, в три дня, подготовить чей-то очередной юбилей. Репетиция, труппа на сцене. Я весь в мыле сучусь в зале. И тут по проходу идут два божьих одуванчика. Одна сидит у нас на входе, вторую вижу в первый раз, обе решительно направляются в мою сторону. Останавливаются. «Это не он!» — громко говорит незнакомая старушка. «Это он!» — уговаривает еще решительнее наша бабушка. «Это не он!» — «Это он!» На сцене все замерли, прислушиваются к ожесточенному диалогу. Я себя чувствую предельно глупо. «Мне нужен главный механик!» — говорит неизвестная. «Он и есть главный механик. Вчера назначили!» — заявляет наша.

Так вот уже пять лет я занимаю должность «главного механика»...

*Строить ли спортивные сооружения в городе  
Ширвиндте? Без них, естественно, нельзя,  
но какие они должны быть — проблема.  
Если воспроизводить спортивный комплекс  
моей юности, то это будет  
комплекс спортивной неполноценности.*

*А с другой стороны, сколько великих личностей  
были рождены знаменитыми московскими  
дворами, где консервную банку  
из-под американской свиной тушенки гонял  
Эдик Стрельцов, и эту же банку бесстрашно  
отражал Лева Яшин, стоящий в воротах,  
в которых штангами были два самых пухлых  
портфеля игроков команд.*

*Я, обладатель спортивных регалий в виде  
«Готов к труду и обороне (ГТО)» второй ступени,  
второго юношеского разряда по баскетболу  
(все награды в моей жизни почему-то до первой  
степени не поднимаются), смею заявить,  
что спорт и искусство имеют  
идентичную эмоциональную основу.*



Футбол и театр. Как надо играть на сцене и на поле, знают все — от мала до велика.

В 1946 году только что демобилизовавшийся брат Борис взял меня на стадион «Динамо» с обязательным условием — не задавать ему во время игры идиотских вопросов: «Куда бегут?», «Чего хотят?», «Кто где?» Сидели мы на самой верхотуре, на «востоке» (хуже мест на стадионе не бывает), при переполненных трибунах, диком накале игры и высоковольтном напряжении болельщиков. За дальнейшие 60 лет моей привязанности к футболу я смотрел матчи из всех возможных точек: из комментаторских кабин, со скамеек запасных, из правительственных лож, из-за ворот — рядом с приютившим меня фотокором Лешей Хомичем — гениальным вратарем прошлого.

И все эти 60 лет я слушаю комментарии, компетентные рецепты, восторги и негодования поклонников удивительного зрелища. Все эти 60 лет содержание реплик стабильно, только форма выражения эмоций год от года упрощается и ужесточается.

60 лет назад на стадионах не матерились, не пили, не дрались с инакомыслящими болельщиками на трибунах, не убивали игроков за гол в свои ворота, не подкупали судей. Максимум, что могли, — это сделать из них мыло. При послевоенном дефиците этого продукта сорокатысячный выдох «судью на мыло» звучал реальной угрозой.

Я всю жизнь болею за «Торпедо». Страсть моя сложная, не всегда счастливая, но неизменная. Началось это давно, в довоенное время, когда я жил в пятисемейной коммуналке в Скатертном переулке, в одной квартире с Пономаревым (не динамовским, а торпедовским Пономаревым). От него я узнал, что на свете есть футбол. Прошло много лет, и я, наблюдая за тренерами и игроками в раздевалке, на играх и на сборах, до и после матча, до и после поражения и победы, прихожу к мысли о необыкновенной эмоциональной схожести наших профессий.

Зритель! Страшная, непредсказуемая масса, для которой ты существуешь. Мы для него сфера обслуживания, рискующая навлечь на себя невероятный восторг и неистовую ненависть.

Зритель и поклонник! Это необходимо и утомительно, когда опустошенный и усталый

после игры актер и футболист вынуждены принимать сладкие поцелуи или трагическое сочувствие.

Почему же плохой футбол? Раньше, когда за каждым поражением стоял престиж родного завода, города, партии, государства, флага и гимна, страх перед возмездием в виде очередной накачки сводил в судороги все, вплоть до ахилла. Пришла свобода: играй — не хочу. Нет, опять не очень! Мало платят. Вот если бы контракты, как у них... Гонорары стали понемножку ползти к мировым стандартам. Счастья опять нет. Почему?

Думаю, что снова стоит вернуться к моей фантазии — схожести наших искусств. Пока Игра не восторжествует на футбольных полях и не затмит своим волшебством и магией все меркантильно-бюрократические интриги — ничего сверхъестественного не произойдет.

Заготовки, разбор, тактика, репетиции, репетиции, репетиции — все это до выхода на зрителя.

Разные команды — разные труппы. Разные режиссеры — разные тренеры. Разные творческие почерки — и разные лица команд и театров. Все разное, но решает здесь одно — успех и победа.

Мы нуждаемся в великом футболе, ибо мы — единственная страна в мире, где все самые острые государственные, личные и служебные вопросы решаются в бане и на футболе. Чем выше будет наш футбол, тем быстрее и успешнее все решится в перерыве между таймами.

Чем зрелищнее станет игра, тем вдохновеннее и честнее окрыленный болельщик бросится в объятия рыночных отношений.

Чем темпераментнее пойдет футбольный спектакль, тем добрее и счастливее будут лица на стадионе — такими, какими были на «Динамо» в 1946 году, когда я еще не знал, что с футболом и театром я окажусь связан всю свою жизнь...

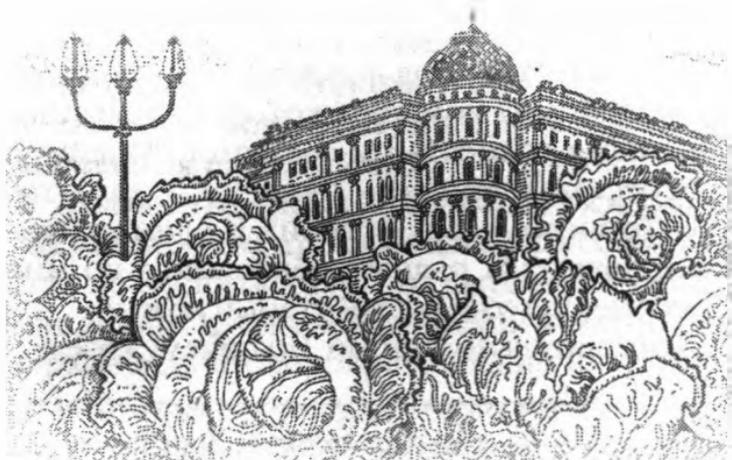
Размечтался!

А пока я стою под дождем среди фанатов своей любимой команды, которые, пользуясь завидными голосовыми связками, 90 минут, не переставая, кричат: «Торпедо» — мы с тобой! «Торпедо» — мы с тобой!» И один из наиболее пьяных и рьяных обращается ко мне дружески: «Чего не орешь, старый козел?!»

Действительно, старый. Но почему козел?



*Целый микрорайон в моем городе должен быть отведен под пожарища моей жизни.*



## • С В Я Т О М Е С Т О •

Свято место пусто не бывает? Бывает! Сколько святых мест заполняется ничтожной «пустотой» без всякой стыдливости. Сколько грязных задниц плюхается в святые кресла предшественников. Уникально избежал этой традиции наш Дом актера.

Когда не было на каждом шагу и углу ресторанов и дискотек, а также игорных салонов

и клубов для различных меньшинств, миллиардов значных мест по интересам — как половым, так и смысловым, существовали маленькие гейзеры клубной жизни, так называемые «дома интеллигенции». В силу дефицита развлечений там все и было сосредоточено.

В дома интеллигенции теперь ходят редко, потому что вокруг — уйма фестивалей, премьер, проектов — только успевай бегать. А просто в дома друг к другу вообще не ходят, а пролетая мимо, кричат: «Перезвонимся». Время перевернуло все. И сейчас, из сегодняшнего бытия, Дом актера моей юности видится во флере доброжелательности и восхищает необыкновенной концентрацией талантливых людей.

Я возник на сцене сгоревшего впоследствии Дома актера. Конечно, я что-то играл в Театре имени Ленинского комсомола, но узнали меня там, на 5-м этаже, как начальника всей шутейности. И то, что я родился в этой «капусте», — мой пожизненный крест.

«Капустники» сочинялись по тем временам очень острые. Сейчас даже смешно об этом говорить, а тогда у общественного директора Дома актера Михаила Ивановича Жарова, который принимал наши новогодние программы, волосы дыбом вставали от ужаса. И настоящий директор Дома Александр Моисеевич Эскин отводил его в сторонку, умоляя не волноваться. Их каждый раз куда-то вызывали, но им удавалось отговориться. Это уже потом я вычислил, что происходило на самом деле. Когда приезжал какой-нибудь Сартр и заявлял:

«У вас тут застенки, никакой свободы слова» — ему отвечали: «Да что вы! Зайдемте куда хотите — да вот хоть в Дом актера!» Приводили. А там, со сцены, при публике, банда молодежи и суперизвестные артисты несут черт знает что. Это была отдушина для узкого круга, которую придумала Госбезопасность. А мы уже ею пользовались на полную катушку. Поэтому у нашего начальства возникали порой неприятности.

У меня была мощная команда: Миша Козаков, Майя Менглет, Никита Подгорный, Сева Ларионов, Нина Палладина, Анатолий Адоскин, Андрюша Миронов, Слава Богачев, Миша Державин, Леня Сатановский. Покойный Лев Лосев, даже когда ушел из театра и работал инструктором отдела культуры Фрунзенского райкома партии, тайком прибегал к нам играть «капустники», в одном из которых мы с ним пародировали Рудакова и Нечаева, исполняя матерные частушки. Зал замирал.

В других творческих домах тоже были серьезные силы, но все мы смотрели в сторону Питера, где под руководством Саши Белинского процветала «капустная» сборная: Рэм Лебедев, Валя Ковель — примадонна, Сережа Юрский, Кира Лавров, Сергей Боярский — папа (Мишка Боярский тогда был классе в четвертом, но уже, по-моему, в усах и шляпе).

Александр Аркадьевич Белинский — удивительная фигура на театральном небосклоне. Казалось бы, не может быть фигуры на небосклоне. На нем могут быть только звезды раз-

ной величины и космическая одноразовая творческая пыль. Но нет, Саша Белинский — фигура на небосклоне. Он помнит все, он знает всех, он любопытен и любознателен, он талантлив и мудр при абсолютном детском наиве — он пишет и говорит с экрана от лица старого сплетника, но никогда не врет, не вспоминает о своих встречах с Мольером, хотя они могли бы быть, если бы были, он незлопамятен и остроумен.

Так вот, когда мы привезли в очередной раз «капусту» в Ленинградский Дворец искусств и Белинский брезгливо-доброжелательно нас приветствовал, он сказал: «Конечно, Шура, все это мило, у меня, конечно, помощнее, но вывести с матерными частушками инструктора райкома партии — я не потянул бы».

Приезжая с гастролями, мы дико волновались — как пройдем. А надо сказать, что питерцы появлялись у нас и мы наведывались к ним довольно часто — Александр Моисеевич Эскин исправно «челночил» нас туда-сюда. Обычно был бешеный успех. В первых рядах — Товстоногов, Акимов, Вивьен, Меркурьев, Райкин... А потом — банкетик. И однажды на банкете Аркадий Исаакович говорит: «Ребята, замечательно, потрясающе, очень весело. Но вообще этим заниматься не надо». — «Как не надо?» — удивились мы. «То, что вы делаете, я тоже мог бы, но не могу. Вы этот пар выпускаете здесь, внутри нашей келейности. А его надо тратить на профессию». И он был прав. Но мы продолжали этим заниматься. Все мои

телевизионные опыты родились из недр Дома актера.

В Доме на Арбате, казалось, невозможно создать ту же атмосферу, что была на Тверской. Все-таки здание холодное, министерское. Но Маргоша Эскина это сделала.

Александр Моисеевич Эскин — уникал, феномен. Он сам или его незримый дух всегда присутствовал на 5-м этаже старого Дома актера. И с Маргаритой — то же. Она ведь работала и на телевидении, и еще в ста местах. Но генетика привела ее сюда. И когда она села в «свято место» — в кресло директора Дома актера, она как будто окунулась в свою теплую ванну. Только она держит Дом при сегодняшней ситуации за окном, бесконечных муках со спонсорами... Есть главное — престолонаследница Маргоша, и в Доме по сути, по духу, по отношению — все абсолютно то же самое.

Ей тяжело, потому что нет финансового крыла Всероссийского театрального общества, она мечется в добыче денег. Надо же понимать — артист платить не привык. Ведь жизнь артиста — это поиски заработка и халява. И Маргарита это знает и старается. Старается не стареть, старается успеть, старается собрать всех под свое крыло — наша любимая наседка и пионервожатая.

Часто слышишь: как хочется отдохнуть от своих! А потом идут в какой-нибудь клуб — и так тошно становится. Артисты — это такие своеобразные животные, и у них должен быть свой вольер — Дом актера. Там и старые львы,

и юные зайцы, и вальяжные лисы. Отсюда — ни с чем не сравнимая атмосфера: и шутки, и глупость, и драки впустую, и слезы, и амбиции, и нарочито громкий смех — все соединяется в симфонию-какофонию, и получается дом артиста. И это замечательно!

Время диктует закуски и шутки, все остальное — прежнее. И не нужно этого старческого: «А вот в наше время...» Все так же.

Мой вклад в досуг театральной общест­венности велик, но, к сожалению, мало оценен и эфемерен. А очень хочется оставить где-нибудь глубокий след. Не наследить, а оставить. Сегодня в веках можно зафиксировать себя только через рекламу.

Из рекламы ресторана Дома актера:

«Большинство рецептов сохранились еще от ресторана ВТО. Это, например, изысканные «судак орли», «бризоль», котлеты «адмирал», которые в свое время на улице Горького заказывали Плятт, Утесов, Яншин... «Сельдь по-бородински» — ароматное филе селедочки в густом орехово-томатном соусе — блюдо с особой историей, его рецепт придумал знаменитый Яков Розенталь, бывший директор ресторана, которого друзья прозвали Борода. Также в меню вы найдете хорошо знакомые современные фамилии: одна из самых роскошных закусок носит название «Большой привет от М. А. Эскиной (директора Централь-



ного Дома актера)», «Омлет по-ширвиндтовски» готовится по рецепту, подаренному самим Александром Ширвиндтом».

Рискуя поиметь неприятности от моего друга-ресторатора Владимира Бароева, конфиденциально изложу рецепт омлета. Он — крайне демократичен. Изобретен мною в период домашнего одиночества, когда все домочадцы — на даче.

Открывается холодильник и смотрится в него. Выгребаются все лежалое, скукоженное, засохшее и чуть-чуть поникшее (категорически выбрасывается гнилое и плесневелое).

Все — обрезки колбасы, хвосты огурцов, редиска, каменный сыр и так далее — режется очень мелко (если резать невозможно, пробуйте натереть).

Потом этот — как бы поинтеллигентнее назвать — натюрморт высыпается на сковородку и жарится. Выглядит неприятно.

Затем разбивается штук пять яиц, добавляется молоко и немножко минеральной воды для взбухания (но ни в коем случае не соды — от нее омлет синеет), все это взбивается и выливается на сковородку. Сверху кладется крышка. Получается пышный омлет, а что там внутри, не видно, но на вкус очень неожиданно. Проверял на близких — удивляются, но едят.

В ресторане — одно из самых дешевых блюд.

*Наступлю на горло собственному мнению  
и воздвигну в городе Ширвиндте огромный дворец  
«Юбилейный». Эти дворцы, разбросанные по всему  
постсоветскому пространству, получили свое  
название в силу того, что строились к какой-то  
круглой дате: юбилей СССР, юбилей Ленина,  
юбилей комсомола... Глупость!*

*Дворцы «Юбилейные» должны функционировать  
не в честь юбилеев, а для юбилеев.*

*Они просто созданы для этого — громадные,  
безвкусные и, как правило, плохо отапливаемые,  
что тоже лишнее при тенденции нынешних  
юбиляров доводить время праздника до заутрени...*



## АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Сегодняшняя жизнь — кровавое шоу с перерывами на презентации и юбилеи.

Звонят: «Завтра у нас большой праздник, круглая дата — три года нашему банку». И я понимаю, почему они празднуют: боятся, что до пятилетия не доживут — или накроются, или их всех пересажают. И вот юбилей в «России» — три года «Вротстройбанку». И статуэтки, статуэтки... — можно сложить медный храм.

Все население страны делится на поздравлял-вручал и принимал-получал. Я — из «вручал».

Нет, у меня тоже есть статуэтки, но хотелось бы больше. Если бы кому-то пришла в голову мысль вручить мне что-нибудь на солидном форуме, то могу подсказать, по какой номинации прохожу стопроцентно — «За совокупность компромиссов». Конечно, этот фестиваль

должен быть безжалостным по всем статьям. Главный приз надо давать «За потерю чести и достоинства». Причем трех степеней:

«Частичная потеря чести и достоинства»,

«Временная потеря чести и достоинства»,

«Окончательная потеря чести и достоинства».

Панихиды тоже стали какими-то шоу. Уже, как на юбилеях или эстрадных концертах, говорят: «Вчера на панихиде здорово выступал такой-то». И обсуждают, кто прошел, а кто не прошел.

Трагедия, фарс — все встык. Хоронили Олега Николаевича Ефремова. Панихида подходила к концу. Я сидел в зале и вдруг услышал, как кто-то около сцены упал в обморок. Кто упал, мне не было видно, а чем закончилась эта история, узнал через несколько дней. Ко мне подходит мой старинный друг Анатолий Адоскин, интеллигентнейший, мягкий, тонкий человек и ироничный до мозга костей. «Ты представляешь, что со мной произошло, — говорит он. — Я же упал в обморок на панихиде Олега. Оставалось несколько минут до выноса Олега, весь Камергерский переулок заполнен народом, и вдруг выносят меня. Правда, вперед головой. Я понимаю: надо хотя бы пошевелиться, но я слаб. Начал думать, что так выносили Станиславского, Немировича-Данченко. И тогда я немножко привстал».

Наша жизнь похожа на этот случай с Адоскиным.

Сегодняшние юбилеи отличаются от панихид меньшей искренностью только потому,

что в последнем случае нет глобальной зависти к предмету события.

На юбилее, как на эстрадном концерте, необходимо иметь успех. Не у юбиляра — не к нему пришли, а у публики. Однажды Борису Голубовскому — он тогда был главным режиссером Театра Гоголя — сделали портретный грим Гоголя. Он схватил за кулисами меня и Льва Лосева, отвел в сторону и нервно сказал: «Сейчас проверю на вас поздравление». И стал читать нам в гриме Гоголя написанное к юбилею приветствие. Потом посмотрел на наши лица — и начал судорожно срывать с себя парик и разгримировываться.

Слевой Лосевым мы прошли долгую дружбу. Были идентичны во вкусах и мироощущении. Чем только не грешили вместе. Вместе актерствовали в «Ленкоме», вместе сочиняли и играли «капустники», вместе придумали «Театральные гостиные» на телевидении, вместе делали радиопередачи к славным датам Родины, вместе баловались пером и даже довольно долго вели юмористическую рубрику в журнале «Театральная жизнь» под псевдонимом Братя Легнинские (для непосвященных: легнин — это такая мягкая бумага — помесь салфетки с пипифаксом, которым артисты стирают грим). В 1964 году в журнале «Театральная жизнь» мы опубликовали фельетон «Советы начинающему юбиляру», и, как теперь выясняется, наш взгляд на юбилей оказался провидческим:

«...Проведение юбилей — это искусство, причем высокое, может быть, самое высокое.

Юбилей — массовый вид искусства. Следует избегать здесь как камерности, так и излишней скромности. Пора в связи с этим переносить юбилейные торжества во дворцы спорта и на стадионы.

Техническая оснащенность юбилейных вечеров — на уровне Средних веков. Телеграммы и магнитофон — вершина, потолок, дальше этого еще никто не шел. А где электронные машины, где телетайп, где спутник и широкоэкранный цветной кино?

Подарки юбилярам — наш стыд, наш позор. Бутылки с шампанским и пудровые чернильницы — дальше фантазия не идет. А разве юбиляры не заслуживают таких подарков, как сад-огород или шагающий экскаватор?

Рекомендуется юбилей отмечать раз и навсегда. Желательно, чтобы юбилей проводили в связи с 45-летием со дня рождения и 25-летием творческой деятельности.

Женщины — в частности, актрисы на роли молодых героинь и трагесты — в отдельных случаях могут праздновать одновременно 25-летие со дня рождения и 45-летие творческой деятельности».

Театру сатиры — 80 лет. Каждые десять лет мы празднуем юбилей. За отчетный период их сделал три — 60, 70, 80. К 60-летию на сцене был установлен пандус в виде улитки. На нем выстроилась вся труппа. Наверху, на площадке, стояли Пельтцер, Папанов, Менглет, Токарская Валентина Георгиевна, прелестная дама с трагической судьбой... Я вел программу

и представлял труппу: «Вот молодежь... а вот среднее поколение... а вот наши ветераны, которые на своих плечах... И, наконец, — кричал я, — вечно молодой пионер нашего театра, 90-летний Георгий Тусузов». Он бежал против движения кольца. Зал встал и начал аплодировать. Пельтцер повернулась к Токарской и говорит: «Валя, вот если бы ты, старая б..., не скрывала свой возраст, то и ты бегала бы с Тузиком».

Кстати, о «вечно молодом» Егоре Тусузове. Использование его сохранности в 90-летнем возрасте однажды чуть не стоило мне биографии.

Назревал 80-летний юбилей мощнейшего циркового деятеля Марка Местечкина. На арене цирка, что на Цветном бульваре, за форгангом толпились люди и кони, чтобы выразить восхищение мэтру советского цирка. В правительственной ложе кучно сидело московское начальство и МГК партии.

Я, собрав юбилейную команду, вывел на сцену Аросеву, Рунге, Державина, которые демонстрировали Местечкину схожесть наших с цирком творческих направлений. «И, наконец, — привычно произношу я, — эталон нашей цирковой закалки, универсальный клоун, 90-летний Егор Тусузов». Тусузов дрессированно выбегает на арену и под привычный шквал аплодисментов бодро бежит по маршруту цирковых лошадей. Во время его пробежки я успеваю сказать: «Вот, дорогой Марк, Тусузов старше вас на десять лет, а в какой форме — несмотря на то, что питается говном в нашем театральном буфете».

Лучше бы я не успел этого произнести...

На следующее утро Театр сатиры пригласили к секретарю МГК партии по идеологии. Так как меня одного — в силу стойкой беспартийности — пригласить в МГК было нельзя, меня вел за ручку секретарь партийной организации театра милейший Борис Рунге.

За утренним столом сидело несколько суровых дам с «халами» на голове и пара мужиков с лицами провинциальных инквизиторов, причесанные водой, очевидно, после вчерашних алкогольных ошибок.

С экзекуцией не тянули, поскольку очередь на «ковер» была большая, и спросили, обращаясь, естественно, к собрату по партии Борису Васильевичу Рунге, считает ли он возможным пребывание в стенах академического театра человека, осмелившегося с арены краснознаменного цирка произнести то, что повторить в стенах МГК партии не может никто. Боря беспомощно посмотрел на меня, и я, не будучи обремененным грузом партийной этики, сделал наивно-удивленное лицо и сказал: «Мне известно, что инкриминирует мне родной МГК, но я удивлен испорченностью восприятия уважаемых секретарей, ибо на арене я четко произнес: «Питается давно в буфете нашего театра». Сконфуженный МГК отпустил Рунге в театр без партвзысканий.

На вопрос, почему я не отмечаю свои юбилеи, придумал ответ: «Я не мыслю себе юбилея, на котором юбиляра не поздравляли бы Ширвиндт и Державин».

Но однажды мы играли спектакль «Чествование» в помещении Театра Маяковского. Там вывесили огромную юбилейную афишу — мой портрет и фраза: «В связи с 60-летием Ширвиндта — «Чествование». И мелко — «Пьеса Слэйда». Народ приходил с грамотами, с бутылками, с сувенирами. Как-то даже приехал Юрий Михайлович Лужков со свитой — не на спектакль, а поздравлять юбиляра. Когда ситуация прояснилась, кое-кого в правительстве Москвы недосчитались.

Поздравлять лучше в трезвом виде, чего я не сделал на юбилее «Сатирикона». На следующий день в газете появилась заметка:

«Александр Ширвиндт один, без Михаила Державина, вышел на сцену нетвердой походкой, вытянув за собой тележку с каким-то грузом. «Я с ипподрома», — гордо сообщил Ширвиндт. После чего он долго навешивал на слегка растерявшегося Константина Райкина всяческие лошадиные принадлежности: сбрую, хомут с пестрыми ленточками, шоры. Когда Райкин был полностью экипирован для забега, Ширвиндт снял с телеги увесистый мешок. Как заклинание, промямлив: «Чтобы ты всегда помнил, где ты живешь и с чем тебе предстоит сражаться», он вывалил прямо на подмости кучу навоза. Наверное, это бутафория, предположили зрители. Но тут раздался запах. Потом долго убирали (хотя пахло до самого финала). Ширвиндт тоже помогал под бурные аплодисменты зала. Талантливому шуту позволено все».

Мы живем для потомков, но не в глобальном масштабе, а в личном. Я живу для внуков, мечтаю о преемственности.

Внучка Саша с трехлетнего возраста научилась произносить тосты. Она знала всех моих друзей, но иногда приходили новые люди. И когда мы садились за стол, она тихонечко меня спрашивала: как зовут гостя, где он работает... Дальше картина такая: посреди застолья вдруг поднимается трехлетний ребенок и с рюмкой в руке говорит: «Мне бы хотелось выпить... — заход совершенно дедушкин, — за очаровательное украшение нашего стола, за Ивана Ивановича, который впервые в нашем доме. Я очень надеюсь, что этот дом будет его домом». У Ивана Ивановича — вот такие шары...

Юбилеи, юбилеи, юбилеи... Тусовки, тусовки... Когда за десятилетия становишься обязательным атрибутом любых дат — от высокогосударственных до мелковедомственных, — постепенно атрофируется цена важности и нужности встреч и застолий. Позволю себе сочинить еще один стишок — с плохой рифмой:

Паря в застольных круговертях  
И дружбы пригубив едва,  
Подумать страшно, сколько песен  
Мы не дослушали до дна...

Навязчивые термины, слава богу, довольно быстро надоедают и куда-то стыдливо улетучиваются. Перестройка! Перестройка! Задолбали. Для меня почему-то это словечко всегда ассоциировалось с пересменкой. Была такая загадочная субстанция в деятельности разных сфер советской действительности. Кое-где этот атавизм социалистической системы труда еще сохранился. На бензоколонках, например. Подъезжаешь, а в окошке — картоночка: «Пересменка с 10 до 11 утра». Что они там делают целый час? На что надеются? Что меняют? Через час (если дождешься) в окошке появляется такая же злобная баба, что была до пересменки, с таким же брезгливо-властным лицом и начинает «отпускать» бензин. Может быть, они злорадно мстят подъехавшим заджипованным клиентам за свою несостоявшуюся судьбу?

Так вот, перестройка — это тоже какая-то пустая пауза между чем-то и чем-то.

Правда, старые таблички и указатели еще повсеместно остались — их еще не перестроили.

И видишь, как черный «Хаммер» с вереницей охранных джипов сворачивает с шоссе на указатель «Совхоз «Заветы Ильича» и подъезжает к византийской башне, возведенной на месте силосной. Не буду город Ширвиндт перестраивать, буду из последних сил воссоздавать архитектуру своей жизни.



Добрые слова надо писать ранним утром — к вечеру начинаешь сомневаться в их искренности. Много мистического придумывала моя страна в процессе своего конвульсивного развития. Например, вневедомственная охрана. Что-то охраняли в пространстве вне ведомств. Я тоже хочу охранять все самое заветное, что существовало и существует во мне вне забот, беготни, бессмысленных телодвижений.

В нашей молодости было много опять же ведомственных здравниц. Союзу архитекторов, например, принадлежал знаменитый дом отдыха «Суханово». Мы поехали туда на Новый год и получили путевки. В них было написано: «Белюсова Наталия Николаевна, член Союза архитекторов, и Ширвиндт Александр Анатольевич, муж члена».

В процессе взросления и старения отдыхательные позы становятся антитусовочны-

ми. Тянет под куст с минимальным окружением. Много мы пошастали уютной компанией по так называемым «лагерям Дома ученых». Ученым в отличие от артистов необязательно отдыхать на глазах восторженной публики. Они придумали свои «лагеря» на все вкусы: Черное море — Крайний Север — крутые горы — тихие озера и быстрые реки... Природа — разная, быт — одинаково суровый: палатки, столовка на самообслуживании, нужда под деревом...

Гердты, Никитины, Окуджавы и мы были допущены в эти лагеря для «прослойки» и из любви.

Обычно наша компания пробивалась на турбазы не скопом, а индивидуально. Чтобы не потеряться, перебрасывались почтовыми посланиями.

Например, поселок Встренча, турбаза. Мы с моей женой Татой незамысловато сообщаем, что «место Встренчи изменить нельзя». И получаем от Оли и Булата намного изысканнее:

Радость Встренчи, боль утраты —  
Все прошло с открыткой Таты.  
На открытку я гляжу  
И в палатку захожу.  
С ней под толстым одеялом  
Вместо грелки я лежу.

Если Окуджавы и Зяма с Таней Гердты приезжали раньше, то тут же телеграфировали:

Мы такие с Таней дуры —  
Не взирая на Булата,  
Вместо чтобы шуры-муры,  
Все мечтаем Шуры-Таты.

Чтобы не сбиться с маршрута, телеграфировали друг другу прямо с трассы.

Окуджава — нам:

Прекратите этих штук —  
Мы почти Великих Лук.  
Приезжая стольный град,  
Будем видеть очень рад.

Я — им:

И от нас большой привет.  
Все разъехались по свет.  
Миша — Ялта, Таты — нет.

Шура пишет вам ответ,  
Завернувшись Зямы в плед.  
На подробность денег нет.

На турбазах были строжайшие каноны пребывания. Собак и детей — ни-ни. Наша чистейшая полукровка Антон и изящнейшая окуджавская пуделиха Тяпа жили полнейшими нелегалами и вынуждены были дружить и переписываться, в смысле сочинять послания.

Украинское село Ахтырка — Антону Ширвиндту:

По дороге на Хухры,  
Там где ямы и бугры,  
Наши рожи от разлуки  
И печальны и мокры.

*Ваша Тяпа.*

При этом хозяева все время мечтали о мясе. Шашлык был по ведомству единственного лица кавказской национальности в нашей

лагерности — Булата. В процессе подготовки — священнодействия — к нему лучше было не подходить и не раздражать его местечковыми советами. Он сам ехал к аборигенам, сам выбирал барана — уже не помню, но очень важно, чтобы баран был то ли недавно зачем-то кастрированный, то ли вообще скопец от рождения.

Наконец, Булат говорил, что баран отобран, зовут (вернее, звали) его Эдик и вечером тело Эдика привезут. Разделявать будем сами, под его руководством.

Аборигены привезли Эдика и подозрительно быстро слиняли. Полночи «разделявали» Эдика — он «разделяться» не желал: кости и кожа составляли всю съедобную массу старого кастрата. И Булат сказал, что мы ни черта не умеем и наша участь — сушить с бабами грибы.

Постоянно придумывали что-то — не как всегда и везде. Вдруг узнаю: юбилей Булата празднуется в Суздале, а у меня — спектакль. Пользуясь привычной формой общения, посылаю телеграмму:

Стрелой, копьем, булатом ржавым  
Отмстим судьбы помехам рьяным,  
Не давшим нам в порыве пьяном  
Обнять родного Окуджаву.

А когда я в очередной раз спрятался от своей круглой даты на берегу Валдая, то получил весточку от Булата:

Прими, брат, поздравленья от нашего двора,  
Не поминай с тоской житейские излишки.  
Шестидесятилетие — счастливая пора.  
Мне ведомо о том, увы, не понаслышке.  
Поскольку наш поэт вам сочинил куплет,  
А песен в вашу честь, что мы слагаем сами,  
Сегодня и не счесть, позвольте, ваша честь,  
Обнять ваш силуэт и любоваться вами.

Вообще всеми правдами и неправдами  
надо сохранять и увековечивать свое культур-  
ное наследие, а если своей культуры не хвата-  
ет — изволь цепляться за классиков и прово-  
цировать их на высказывания, чтобы потом  
сказать: «с Пушкиным на дружеской ноге...»

Горжусь своим изобретением — мечтаю  
его запатентовать. В моем туалете над унита-  
зом вмонтировано большое зеркало под уг-  
лом видимости того, что происходит. Соору-  
жение, естественно, только для мужчин. Раз-  
ные мысли приходят моим друзьям во время  
посещения этой комнаты смеха, но чем талант-  
ливее посетитель, тем неожиданнее реакция:

Грядущей жизни ширь видна  
Нам лишь от водки Ширвиндта.

*Твой Фазиль Искандер.*

Тарковский в «Зеркале» добился отраженья  
Почти всех тайн, что скрыты в жизни спорной.  
Лишь член там не увидишь в обнаженье —  
Он отражен у Ширвиндта в уборной.

*В. Гафт, «Раздумья».*

Друзьями надо заниматься постоянно. Их  
надо хотеть и нельзя разочаровывать. Их надо  
веселить, кормить и одаривать.

*Как я сочувствую грядущим властителям  
и градоначальникам, которым придется  
в нашей непредсказуемой по эмоциям стране  
в очередной раз переименовывать  
города, улицы, скверы.*

*Это ведь очень дорого: таблички, документация...  
А памятники вообще переименовывать сложно —  
приходится сносить. Да и во что  
переименовывать, чтобы продержалось подольше?  
Ну, Москва нашла временный выход — вернула  
пришпектам и переулкам прежние имена.*

*Тоже, правда, как-то пугливо:  
улицы Качалова больше не существует,  
а Марксистская для страховки осталась.*

*Нет! Либо как в Америке — тупо, но вечно:  
угол 2-й авеню и 10-й стрит  
нельзя переименовать в угол 3-й и 4-й.*

*Либо как я в своем городке — мечтаю раздать  
навечно улицы и площади самым дорогим людям,  
которых переименовать в моем сердце  
не сможет никто.*



## ПРОСПЕКТ МИРОНОВА

Бомарше, «Женитьба Фигаро».

*3-й акт, 5-я картина, последнее явление.*

Г р а ф. Угодно вам, сударь, ответить на мои вопросы?

Ф и г а р о. Кто же может меня от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой.

Г р а ф. Если что и может довести меня до белого каления, так это его невозмутимый вид!

Ф и г а р о. Я должен знать, из-за чего мне гневаться.

Г р а ф. Потрудитесь нам сказать, кто эта дама, которую вы только что увели в беседку?

Ф и г а р о. Вон в ту?

Г р а ф. Нет, в эту.

Ф и г а р о. Это разница! Я увел туда одну молодую особу, которая удостаивает меня особого расположения.

Г р а ф. А не связана ли эта дама другими обязательствами, которые вам-то слишком хорошо известны?

Ф и г а р о. Да! Мне известно, что некий вельможа одно время был к ней неравнодушен, но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше, сегодня она оказывает предпочтение мне...

Это были последние слова Фигаро, которые он успел произнести на сцене Рижского оперного театра 14 августа 1987 года...

После чего, пренебрегая логикой взаимоотношений с графом, Фигаро начал отступать назад, оперся рукой о витой узор беседки и медленно-медленно стал ослабевать... Граф, вопреки логике взаимоотношений, бросился к сопернику, обнял его и под щемящую тишину зрительного зала, удивленного такой трактовкой этой сцены, унес Фигаро за кулисы, успев крикнуть: «Занавес!»...

«Шура, голова болит», — это были последние слова Андрея Миронова, сказанные им на сцене оперного театра в Риге и в жизни вообще.

...В июне 1987 года Андрей загадочно приехал меня в какой-то угол театра и заявил, что на гастроли Вильнюс — Рига мы едем на машинах. Не успел я вяло спросить «зачем?», как он меня уже уговорил. Так случалось всегда, потому что чем меньше было у него аргументов, тем талантливее, темпераментнее, обаятельнее и быстрее он добивался своего.

Мой персональный автомобиль «ГАЗ-24» приводился в движение горючим под названием «А-76», а мышинный «BMW» Андрея — топливом с кодовым названием «А-95». Эти девятнадцать единиц разницы неизвестно чего всегда казались мне рекламным выражением самомнения нашей нефтеперерабатывающей промышленности, но опыт показал, что всякий цинизм наказуем. Так как на автоколонках бензин в те времена продавался строго по ассортименту, то, естественно, там, где заливали «А-76», и не пахло «А-95», а там, где пахло «А-95» (а пахнет он действительно поблагороднее), и не пахло моим средством передвижения. А поскольку бензин обычно кончается не там, где его можно залить, а там, где он кончается, то мышинный «BMW», брезгливо морщась, вынужден был поглощать дурно пахнущую этиловую жидкость, а моя самоходка при простом содействии любимого народом лица Андрея получала несколько литров «А-95», этого «Кристиана Диора» двигателей внутреннего сгорания, от зардевшихся и безумно счастливых бензозаправщиц. Но вся мистика состояла в том, что оба наших аппарата реагировали на такую замену питания одинаково: они начинали греться, затем «троить», а потом просто не ехать. Ну, с «BMW» все понятно — ему просто физически не хватало этих единиц чего-то, но моя-то... Казалось бы, вдохни полной грудью пары неслыханной консистенции и лети. Нет. Фырчит, греется, останавливается — вот уж поистине «у советских соб-

ственная гордость». Но если в ситуации с горячим мы были на равных, то по остальным компонентам автопробега я сильно отставал в буквальном и переносном смысле: частое забрызгивание свечей, прогорание и последующее отпадение трубы глушителя, подтекание охлаждающей жидкости неизвестно откуда — везде все сухо, а под машиной лужица тосола, частый «уход» искры — на разрыве контактов есть, а на свечи не поступает или даже наоборот, что вообще немислимо, но факт.

Поэтому ехали мы быстро, но долго.

Андрюша не умел ждать и не мог стоять на месте.

Динамика — его суть. Он улелал вперед, возвращался, обреченно и грустно взирал на мое глубокомысленное ковыряние под капотом и улелал опять. Я думаю, что на круг он трижды покрывал расстояние нашего пробега.

Я часто слышу вздохи: «Горел, сгорал, сгорел». Но если попробовать найти слово, одно слово, чтобы определить эту удивительную натуру, то я, подумавши, осмелюсь произнести: «Страсть!» Он всегда страстно желал... А какая же страсть без огня? При его титанической работоспособности казалось, что он никогда не уставал. Очевидно, усталость — это превозмогание ненависти организма к жизни и работе, он обожал жизнь и не мог без работы. И не вообще, а конкретно. Я думаю, что только внутренняя целеустремленность превращает сильный дух в творческую личность.

Бежит время, и образ Андрея, его последние дни, часы, минуты облакаются в легенды, домыслы, «личные» воспоминания. Этот обязательный снежный ком слухов, который всегда катится с горы человеческого горя, невозможно удержать, да, наверное, и не надо. Потому что в данном случае этот ком у большинства родился от комка в горле, а не от пошлого обывательского любопытства.

Я вспоминаю, как в 1955 году на площади Маяковского, в Московском театре эстрады, позже ставшем театром-студией «Современник», ныне — стоянкой автотранспорта около гостиницы «Пекин», напротив Театра сатиры, шла премьера-обозрение «Московская фантазия», где я, студент 3-го курса театрального училища имени Щукина, делал первые неуклюжие шаги на эстрадно-театральном поприще, а в пятом ряду, в центре, сидели Мария Владимировна и Александр Семенович, а между ними, не справа или слева, а между ними, я точно помню, сидел не самый худой и не самый первый отличник 7-го класса Андрюша и замороженно смотрел на подмостки. И никто тогда — ни родители, ни будущие друзья, ни даже рухнувшие впоследствии стены этого театра — не мог представить, что через каких-нибудь двенадцать лет на этой же площади загорится яркая звезда нашего искусства — Андрей Александрович Миронов.

Я не знаю, как объяснить необъяснимое: почему при актерской бродячей жизни, когда судьба забрасывает нас поодиночке в самые разные уголки, вдруг на дождливом юрмаль-

ском побережье собрались в августе, словно по внутреннему наитию, почти все родные и близкие Андрею люди. Как он нами занимался, как беспрестанно собирал, собирал, собирал всех нас вместе и как говорил, что он счастлив!

Зыбкая мечта человека умереть в своем доме... Андрей умер там, где он жил, — на сцене. Я вез его по коридору больницы — он лежал спокойный, молодой, красивый, в черном костюме Фигаро, а вокруг со скорбным удивлением толпился беспомощный цвет отечественной нейрохирургии...

В те дни мой шестилетний внук Андрюша услышал телефонный разговор.

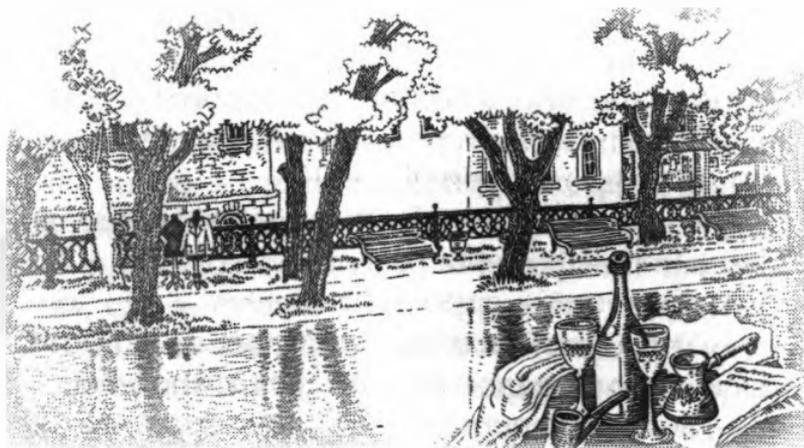
— С кем ты? — спросил он.

— Это Саша Ушаков, — ответил я. — Ты не знаешь, это большой друг Андрея Миронова.

— Значит, теперь это мой друг, раз Андрей мой крестный.

Как радостно, что маленький Андрюша успел зафиксировать в детском сознании образ своего замечательного тезки, в честь которого был назван. Как трагично, что Андрей Миронов не привезет уже взрослому тезке очередную кепку, не услышит новых записей эстрадных звезд, не увидит последних шедевров мирового экрана, не соберет нас, как всегда, вокруг себя, не узнает, до какой степени все без него опустело...

А то, что происходило на его панихиде и похоронах и что творится на его могиле, я расскажу ему при встрече...



## ГОРИНСКИЕ ПРУДЫ

Чем добрее человек, тем он доступнее. А если он при этом еще и талантлив, то становится липкой бумагой для сонмища «мух», мощно и бессмысленно жужжащих вокруг, кичась назойливой бездарностью. «Прилипну! Прилипну! Погибну, но прилипну». Их же никто к этой манкой ленте не прищипливает, как в садистском набоковском наслаждении убийства и без того недолгожительных бабочек. Они

не случайно врезаются в эту ленту, летя на космических скоростях к звездам или, на худой конец, на кухню. Нет. Они добровольно и вожделенно прикипают к медообразной поверхности, прикипают, влипают и, вкусив глоток чужого дарования, погибают.

Сонмища «мух» вились около Гришиного таланта, обаяния, доброты, жалости к человечкам. К сожалению, иногда пользовались огромностью его души и мы, друзья. Каждый из нас должен найти в себе запоздалое мужество и попросить у Гриши прощения.

Прощения за то, что использовали его талант в корыстных целях.

Прощения за то, что пользовались его добротой из меркантильных соображений.

Прощения за то, что отнимали у читателей, зрителей и потомков его драгоценное время, растаскивая Гришу по бесконечным юбилеям, «жюрям», презентациям и прочаям...

Прощения за то, что очень редко по отношению к Грише употреблялось восклицание «НА!» вместо бесконечной мольбы — «ДАЙ!».

Разослать бы всем анкеты, чтобы каждый, персонально, как в налоговой декларации (только на этот раз честно), написал список Гришиных благодеяний. Монументальный труд мерещится.

Хочу быть пионером в этом проекте и на паре-тройке примеров показать картину своих взаимоотношений с другом.

По разделам.

## Раздел первый. РЫБАЛКА.

а) Заставлял (в силу своего жаворонковского просыпания) Гришу вставать в 4 часа утра, прекрасно зная, что версия предрасветного клева — утопия, а Гриша мечтает хотя бы о часе лишнего сна.

б) Силой своей алкоголической настырности вливал в Гришу на пленэре намного больше напитков, чем он хотел и мог употребить.

в) Никогда не помогал Грише в добыче наживки (откапывании червей, варении геркулеса и манки, покупке мотыля).

г) Не отказывался от Гришиных предложений занять лучшее и более уловистое место на берегу.

д) Не собирал ветки и не разводил костра вместе с Гришей — только руководил.

е) Во время бури на Озерне не сменил его на веслах.

ж) Никогда не противился разделу улова поровну, хорошо зная, что Гриша меня обловил.

з) Неоднократно на обратном пути с рыбалки засыпал за рулем, прекрасно сознавая, какую общечеловеческую ценность я везу.

и) Ни разу в жизни не помог Грише чистить рыбу.

Напрашивается вопрос: зачем вообще я нужен был ему на рыбалке?

Напрашивается ответ: он считал меня своим другом. А для друга...

## Раздел второй. ТВОРЧЕСТВО.

а) «Капустники» Дома актера...

Сколько бессонных молодежных ночей провели мы с Гришей под надзором незабвен-

ного Александра Моисеевича Эскина в ныне сгоревшем Доме актера, сочиняя «крамолу» застойной эпохи. Сколько аплодисментов заслужили от благодарной «элиты», скрывая за кулисами блистательного и скромного автора Горина (в те «жуткие» времена авторы еще не выходили вместо артистов на сцену).

б) Юбилеи.

Сколько ночного телефонного нытья выслушал от меня Гриша с просьбой повернуть очередную старую шутку.

Сколько он зарифмовал скетчей и тостов.

Всю жизнь Гриша метался между мечтой оставаться самим собой и необходимостью обслуживать друзей. Часто это было несовместимо.

Только Театр сатиры:

1968 г. — пьеса «Банкет» (с А. Аркановым) для Марка Захарова.

1973 г. — пьеса «Маленькие комедии большого дома» (с А. Аркановым) для А. Миронова и А. Ширвиндта.

1974 г. — «Нам пятьдесят» (с А. Ширвиндтом, обозрение к юбилею театра) под давлением А. Ширвиндта, для А. Ширвиндта.

1976 г. — перевод с литовского пьесы К. Сая «Клеменс» (так как никто в стране, включая Гришу, литовского языка не знал, ему пришлось писать «Клеменс» своими словами).

1979 г. — пьеса «Феномены» для А. Миронова.

1982 г. — «Концерт для театра с оркестром» (с А. Ширвиндтом). Обозрение к юбилею создания Союза Советских Социалистических Республик.

листических Республик. В момент написания в Доме творчества «Малеевка» Гриша от ужаса неоднократно выпрыгивал в окно, но я догонял и заставлял писать дальше.

1984 г. — «Прощай, конференсье!» для А. Миронова.

1997 г. — пьеса «Счастливец — Несчастливец» (к 60-летию М. Державина и примкнувшего А. Ширвиндта).

Сегодня, когда уже нет сил наблюдать ожесточенную борьбу слабых сил, когда усталые радиосмельчаки в душных бункерах круглосуточной свободы настырно мучают население всевозможными радиоопросами типа:

Кто считает, что Пушкин — наше все, звоните 2222222

Кто считает, что Пушкин — наше не все, звоните 2222223

Кто затрудняется ответить, звоните 2222224 —

я затрудняюсь ответить, до какой степени пошлости этой свободы волеизъявления мы докатимся, и охватывает некоторая безысходная паника.

Что-то совсем одиноко. Так все безумно и бездумно ждали прихода нового века — какой-никакой, а аттракцион биографии — жил, мол, в двух веках. Родился в середине прошлого века. Как приятно произносить: «Помню, где-то в конце прошлого века...» А на поверку

век этот прошлый оказался бессмысленно жестоким и беспринципным. Что он нам устроил? Какой баланс животного и смыслового существования предложил? Если заложить в компьютер (счастье, что я не умею им пользоваться) все параметры бытия нашего поколения, то картинка получится крайне неприглядная. В какой-то хорошей сегодняшней книжке молодая героиня (и тоже сегодняшняя) брезгливо произносит, глядя на своих родителей, что она могла бы защитить диссертацию «Психологические особенности шестидесятников». Снисходительное отношение к этой цифре — 60 — как-то очень трагически-символично совпало с биографией страны и возрастом шестидесятников. Шестидесятники стройными рядами попытались вступить в новый век в 60-летних возрастах, и новый век многим — боюсь, что лучшим, — не дал визы. Что он, этот век-вундеркинд, задумал? Какую свежую катастрофу он начал фабриковать для своего 3000-го преемника? Никому не узнать. Но зачем же на этом экспериментальном старте убивать все талантливое и мощное, что существует?

Родину не выбирают! Родителей не выбирают — их ласково пережидают! Seriously выбирают только президентов и друзей. Первых — от безвыходности, вторых — по наитию.

Вспоминаю о Грише и все время думаю: кому и зачем я эти строки адресую? Потомкам? Уверен, что им нужнее будет классик Г. Горин, а не вздохи современников.

Сегодняшним? Да ну! Будут вожделенно ждать биографической «клубнички» от графоманов, по недосмотру не состоящих на психиатрическом учете.

Демонстрировать на бумаге стриптиз искренности для посторонних я не потяну — слишком лично, тонко, долго и непросто складывалась наша с Гришей история взаимоотношений.

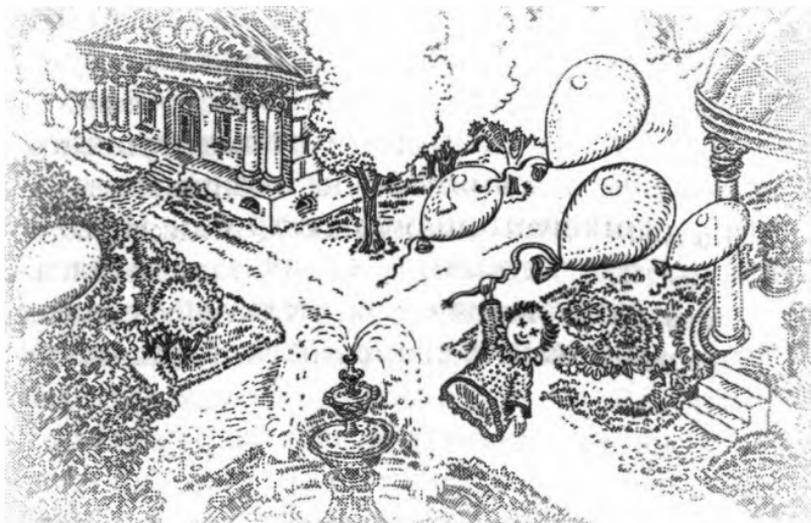
Спрятаться за привычную маску иронического цинизма недостает духу.

Со страшным ускорением уходят в небытие соученики, сослуживцы, друзья. Похороны одного совпадают с сороковым днем предыдущего. Не хватает ни сил, ни слов, ни слез. Нечем заполнить вакуум единственной питательной среды — дружбы.

В 60-х годах (сколько можно употреблять эту цифру!) на перекрестке наших богемных передвижений молодой, но уже великий Слава Зайцев, перехватив наш с Гришей завистливый взгляд на прошеествовавшего мимо человека — «иномарку» дипломатического разлива, участливо бросил: «Гриша! Набери материала, я создам тебе ансамбль — все ахнут». Не прошло и года, как мне позвонил взволнованный Гриша и сказал: «Свершилось! Идем в Дом литератора на премьеру костюма — я один боюсь». В переполненный пьяно-хвастливым гулом ресторан вошел я, а за мной в некоторой манекенной зажатости торжественно вплыл Гриша, неся на плечах и ногах стального цвета зайцевский шедевр. Мы остановились в дверях, ожидая аплодисментов, и в этот момент

мимо нас, с незамысловатой поэтической закуской, прошмыгнул легендарный официант Адик, мельком зыркнул на Гришу и, потрепав свободной рукой лацкан шедевра, доброжелательно воскликнул: «О, рашен пошив!» Мы развернулись и больше этот костюм не демонстрировали.

Случилось это лет сорок назад — были мы молоды и мечтали о хороших пиджаках, бриарровских прямых петерсоновских трубках, о неинерционных спиннинговых катушках... Все пришло! И что? Любочка Горина сказала: «Возьми Гришины пиджаки и трубки. Носи и кури, мне будет приятно». Я сначала испугался, потом подумал и взял. И вот хожу я в Гришином пиджаке, пыхчу его трубкой, и мне тепло и уютно.



## ЗЯМИН САД

В эпоху повсеместной победы дилетантизма всякое проявление высокого профессионализма выглядит архаичным и неправдоподобным.

Гердт — пример воинствующего профессионала-универсала.

Я всегда думал, наблюдая за ним: «Кем бы Гердт был, не стань он артистом?» Не будь он артистом, он был бы гениальным плотником

или хирургом. Гердтовские руки, держащие рубанок или топор, — умелые, сильные, мужские (вообще Гердт «в целом» очень похож на мужчину — археологическая редкость в голубой дымке нынешнего времени). Красивые гердтовские руки — руки мастера, руки артиста.

Не будь он артистом, был бы поэтом, потому что он — глубокая поэтическая натура.

Не будь он артистом, он был бы замечательным эстрадным пародистом — тонким, доброжелательным, точным. Недаром из миллиона своих двойников Леонид Утесов выделял Гердта.

Не будь он пародистом, он был бы певцом или музыкантом. Абсолютный слух, редкое вокальное чутье и музыкальная эрудиция дали бы нам своего Азнавура, с той только разницей, что у Гердта был еще и хороший голос.

Не будь он музыкантом, он стал бы писателем или журналистом: что бы ни писал Гердт — эстрадный монолог, чем он грешил в молодости, или журнальную статью, или текст для фильма, — это всегда было индивидуально, смело по жанровой стилистике.

Не будь он писателем, он мог бы стать великолепным телевизионным шоуменом.

Не будь он шоуменом, он мог бы стать уникальным диктором-ведущим. Гердтовский закадровый голос — эталон этого еще малоизученного, но, несомненно, труднейшего вида искусства. Его голос не спугаешь ни с каким другим по тембру, по интонации, по одному ему свойственной гердтовской иронии: наив-

ный ли это мультфильм, или «Двенадцать стульев», или рассказ о жизни и бедах североморских котиков.

Не будь он артистом... Но он Артист! Артист, богом данный, и слава этому богу, что при всех профессиональных «совмещениях» бурной натуры Зямы ему (богу) было угодно отдать Гердта Мельпомене.

...Поехал Зяма как-то раз с творческими вечерами не то в Иркутск, не то во Владивосток. Было ему лет семьдесят пять (возраст в его жизни никогда ничего не означал, потому что он всегда был бодрый и поджарый). Возила его заместитель администратора, девочка лет восемнадцати. Она его возила по клубам, сараям, воинским частям, рыбхозам и так далее, где Зяма увлеченно и, стремясь увлечь, читал Пастернака, Заболоцкого и Самойлова, а люди, из уважения к нему, все это слушали, выпучив глаза. Потом Зяма над ними сжаливался и начинал рассказывать какие-то байки и анекдоты. Они успокаивались и смеялись от души.

Когда артист ездит по стране с концертами, то у него есть какая-то болванка, на которую всегда нанизывается вся программа. Делается умный вид, и говорится: «Да, кстати, я вот только что вспомнил...» — хотя вспоминаешь «это» уже 30—40 лет подряд.

Зяма был среди нас, в данном случае — актер эстрады, первым. Он так органично делал вид, будто «это» только что пришло в голову, что никаких подозрений не возникало. Он

никогда не попадал в катастрофу, в которую рано или поздно попадает любой артист во время «чёса» (так раньше назывался график гастролей, когда в день нужно было играть три-четыре концерта). Помню, в городе Кургане, когда на третьем представлении я в той же манере «да, кстати, я вот только что вспомнил...» начал рассказывать какую-то историю, то вдруг, споткнувшись о подозрительную тишину в зале, с ужасом понял, что говорил это минут десять назад. А у меня-то ощущение, что я говорил это на прошлой встрече, часа три назад! Мозги-то не подключены... Ну, я, конечно, вывернулся, сказав: «Я вам сейчас показал, как бывает, когда артист «чешет»...»

С Зямой ничего подобного произойти не могло ни при каких обстоятельствах. У него была железная канва выступления, но каждый раз он рассказывал все с таким удовольствием, так свежо и азартно, что зрители действительно уходили от него с ощущением случайного, но очень душевного разговора.

Так вот, эта девочка, зам. администратора, где-то на четвертый день гастролей сказала Зяме: «Вы знаете, Зиновий Ефимович, я вас так ужасно обожаю, что хочу выйти за вас замуж». На что Зяма ей ответил: «Деточка, это вопрос очень серьезный. Спонтанно он не решается. Во-первых, ты должна познакомить меня со своими родителями. Кто у тебя родители? (Далее следует ответ девочки, кто у нее родители, типа: папа — в порту, мама — экономист...) Во-вторых, ты должна сообщить им о своем намерении и все честно сказать — в кого, кто...

Сколько папе лет? (Следует ответ, сколько папе лет.) Ну так вот, обязательно скажи, что твой жених (пауза)... в два раза старше папы».

Этот случай для Зямы типичен, потому что влюблялись в него глобально. Как он это делал? Зяма не делал для этого ни-че-го.

...В Мировом океане существует закон, сформулированный людишками как «запах сильной рыбы». Выражается он технически очень просто: тихая, штилевая, солнечная, невинно-первозданная гладь Мирового океана — сытые акулы, уставшие пираньи, разряженные электроскаты, растаявшие айсберги, — вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего все приходит в волнение. Это где-то, может, вне черты осязаемой оседлости, появилась сильная рыба, даже не она сама, а только ее запах. И идиотская безмятежность Мирового океана моментально нарушается.

Магнетизм исходил от Гердта постоянно, и это свойство — не актерское.

Я всегда поражался и завидовал людям, которым не надо учить стихи. Зяма, Саша Володин, Миша Козаков, Эльдар Рязанов... — они стихи не учили. Они просто читали их и впитывали. Мгновенно. Как поэты. Прочли и впитали. Поэтому их поэтическая эрудиция была грандиозной. Они даже играли в такую игру: один читает пару строк, другой должен продолжить — кто первый запнется. Я не могу сказать, что мало прочел в этой жизни, но чтобы столько запомнить! Столько?! Мне это просто

не под силу. А сколько Зяма учил текста, находясь уже в преклонном возрасте. Это же немыслимо! Мефистофель в «Фаусте» у Козакова... А Фейербах у Валеры Фокина — там же бездна текста, невпроворот, и какой сложный слог! Но Зяма был королем. Он был просто недосягаем.

А вот так задуматься... Война. Роковая ущербность. Существование долгие годы за ширмой Театра кукол, похожее на затянувшееся затмение. Потом постепенно, потихонечку, через голос, через тембр, через талант он вырвался из-за этой тряпки. Для того чтобы пройти такой путь и потом выйти на такие вершины мастерства, я убежден, необходимы большое мужество и нормальное человеческое честолюбие. Зяма всегда знал, что он собой представляет, как выглядит, как соотносится со всем остальным и со всеми остальными в каждый момент своего существования. В нем было достаточно *нужного* тщеславия.

Вот Зяма сидит за столом. Гости. Он царит. В любом застолье он занимал свою нишу. Он затихал внутренне и созерцал, наслаждался разговором, рассматривал людей, как диковинку.

Вокруг него всегда были люди соревновательные. Он приобретал их, словно выигрывая на аукционе. И радовался потом своим приобретениям, как ребенок. Он умел любоваться людьми. Слушать их и просто любоваться.

Есть актеры, как, например, покойный Папанов, которые носят огромные черные очки, кепку до бровей, чтобы ни-ни, никто не узнал и не приставал с автографами. А есть люди, которые стоят открытыми и голыми и ждут: когда же их заметят?.. когда набегут?.. Этакая паническая жажда популярности... Зяма искал не того, кто будет просить у него автограф, не того, кто будет хлопать ресницами и повторять: «Смотрите, живой Гердт!..» — нет. Он искал новую *аудиторию*. Мог устать от нее через секунду, потерять интерес. Но все равно шел к людям сам, в надежде на неслыханное...

Звонит Зяма: «Все! Срочно берем жен, детей — по машинам, и поехали».

Нижнее Эшери. Недалеко от Сухуми. Красота невообразимая... У нас с женой и сыном какой-то сарай. Зяме с Таней и Катей досталось подобное жилье с комнатой чуть побольше. Над кроватью Зямы — огромный портрет Сталина, вытканый на ковре, правда, Таня его завесила занавесочкой. И вот такая картина: невероятных размеров завешенный Сталин, а под ним — маленькое тело Зямы, испытывающего давнюю «любовь» к этой фигуре... А фамилия хозяина дома, где жил Зямка, как сейчас помню, была Липартия. Так что Зяма жил у Партии, под Сталиным.

Море было недалеко. Но для того чтобы до него дойти, требовались и силы, и нервы, поскольку дорога представляла собой каменную россыпь из булыжников, голышей и малень-

ких острых камешков. Это сейчас придумали шлепанцы и сандалии на толстой и мягкой подошве, а тогда... Но Зямин оптимизм побеждал.

«Никаких курортов и санаториев! Только чистая природа, дикие хозяева и молодое вино...»

В первую же ночь мы поняли, что через нас проходит железная дорога. Это было волшебство: каждую ночь мы «тряслись» в поезде, и нас увозило из этого села то на юг, то на север. Но каждое утро мы просыпались опять в Нижнем Эшери...

На заре советской автомобильной эры все мы, естественно, мечтали купить машину. А это по тем временам являлось дикой проблемой. Нужно было ходить, подписывать бумажки, чтобы тебя поставили в очередь.

В Южном порту находилась знаменитая автомобильная комиссионка. Она делилась на несколько отсеков. Первый — для простых очередников, алчущих четыре года дряблого «Москвича». Второй содержал в себе «Волги», на которых уже не в силах были ездить сотрудники посольств и дипкорпуса. А дальше, в самом конце, размещался третий отсек, представлявший собой маленький загончик, где стояли машины, доступ к которым имели только дети политбюровских шишек и космонавты. Там стояли (как тогда говорили с придыханием) иномарки.

Большинство нормальных советских людей вообще не знало, что это такое. Зямина

пижонская мечта была — добраться до заветного третьего отсека. Пройдя все кордоны и заслоны, собрав целую папку бумаг и подписав ее у очередного управленческого мурла, Зяма таки получил смотровой талон в третий отсек. По этому талону можно было в течение двух недель ходить туда и смотреть на ино-марки — в ожидании новых поступлений. Но если ты за две недели так и не решался купить что-то из предложенного, то время действия талона просто истекало и право посещения смотровой свалки аннулировалось. Поэтому была страшная нервозотрепка. Зяма, пройдив туда дней двенадцать, занервничал.

Звонит мне оттуда: «Все... Я ждать больше не могу. Я решил — покупаю «Вольво»-фургон». Я ему: «Зяма, опомнись, какого машина года?» Он мне: «Думаю, 1726-го...» (Ей было лет двадцать.) — «Ну хоть на ходу?» — «Да, все в порядке, она на ходу, только здесь есть один нюанс... Она с правым рулем». Я столбенею, представляя Зяму с правым рулем... но не успеваю представить до конца, потому как слышу из трубки: «Приезжай, я не знаю, как на ней ездить».

Я приперся туда. Вижу огромную несвежую бандуру. И руль справа. «Давай, садись!» — бодро говорит мне Зяма, подталкивая меня на водительское место. Я, изо всех сил преодолевая довольно неприятные ощущения (ну, всю жизнь проездить за левым рулем, а тут!), сел за этот самый правый руль, и мы понеслись. С меня сошло семь потов, пока мы добрались до дома, потому что в машине был еще один ню-

анс: эта бедная машина стала сыпаться, как только мы выехали за ворота. В общем, когда мы добрались до улицы Телевидения, где тогда жили Зяма с Таней, она рассыпалась окончательно...

И стали мы все вместе ее чинить. А там каждый винтик нужно было либо кланчить в УПДК — Управлении дипломатического корпуса — и покупать в четыре цены, либо заказывать тем, кто едет за границу (где таких машин уже просто никто не помнит), записав на листочке марку, модель, точное название детали и так далее. Но все-таки Зяма упорно на ней ездил.

Зямина езда на этой «Вольве-Антилопегну» подарила мне несколько дней «болдинской осени».

Осенью Зяма немножечко зацепил своей «Вольвой» какого-то загородного пешехода. Пешеход почему-то оказался недостаточно пьян, чтобы быть целиком виновным. Нависла угроза лишения водительских прав и всякие другие неприятные автомобильные санкции. Мы с Зямой взяли за руки и поехали по местам дислокации милицейских чиновников, где шутили, поили, обещали и клялись. Но размер проступка был выше возможностей посещаемых нами гаишников. Так мы добрались, наконец, до мощной грузинской дамы, полковника милиции, начальницы всей пропаганды вместе с агитацией советского ГАИ.

Приняла она нас сурово. Ручку поцеловать не далась. Выслушала мольбы и шутки и, не улыбнувшись, сказала: «Значит, так: сочиняйте два-три стихотворных плаката к месячнику безопасности движения. Если понравится — будем с вами... что-нибудь думать».

Милицейская «болдинская осень» была очень трудной. В голову лезли мысли и рифмы, которые даже сегодня, в наш бесконтрольный век торжества неноменклатурной лексики, печатать неловко. Но с гордостью могу сообщить читателям, что на 27-м километре Минского шоссе несколько лет стоял (стоял на плакате, разумеется) пятиметровый идиот с поднятой вверх дланью, в которую (в эту длань) были врисованы огромные водительские права. А между его широко расставленных ног красовался наш с Зямой поэтический шедевр:

Любому предъявить я рад  
Талон свой недырявый,  
Не занимаю левый ряд,  
Когда свободен правый!

Это все, что было отобрано для практического осуществления на трассах из 15—20 заготовок типа:

Зачем ты делаешь наезд  
В период, когда идет  
Судьбоносный, исторический  
24-й партийный съезд?..

Зяма всегда и все в жизни делал очень аппетитно. Когда я видел, как он ест, мне сразу же хотелось есть. Он никогда не «перехватывал» в театре, между репетициями или во время спектакля. Все ели, потому что были голодны, а он терпел и ехал домой на обед или ужин.

Он всегда замечательно одевался. Носил вещи потрясающе элегантно. Он никогда не раздумывал над покупкой, он просто очень хорошо знал, во что ему положить тело.

И хромота у него была такая, которая вовсе не читалась как хромота. Он не хромал, а нес тело. Нес, как через «лежащего полицейского», через которого нужно переехать медленно...

У Тани Гердт фамилия не Гердт. У Тани Гердт фамилия — Правдина. Не псевдоним, а настоящая фамилия, от папы. Трудно поверить, что в наше время можно носить фамилию из фонвизинского «Недоросля», где все персонажи — Стародум, Митрофанушка, Правдин... — стали нарицательными. Наричательная стоимость Таниной фамилии стопроцентна. Таня не умеет врать и прикидываться. Она честна и принципиальна до пугающей наивности. Она умна, хозяйственна, начальственна, нежна и властолюбива. Она необыкновенно сильная.

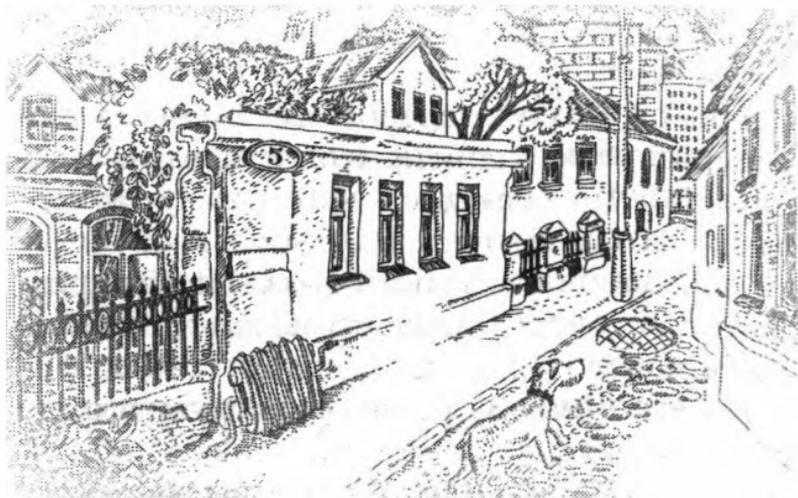
С ее появлением в жизни Зямы возникли железная основа и каменная стена. За нее можно было спрятаться... Такой разбросанный и темпераментный, эмоционально увлекающийся человек, как Зяма, должен был все-

гда срочно «возвращаться на базу» и падать к Таниным ногам. Что он и делал всю жизнь.

Таня — гениальная дама, она подарила нам последние 15 лет Зяминой жизни...

Зяма был дико рукастый. Всю столярку на даче он всегда делал сам. А на отдыхе, у палаток, скамейку, стол, лавку, табуретку сбивал за одну секунду.

Как-то у себя в деревне под Тверью я пытался построить сортирный стул, чтобы под тобой было не зияющее «очко», а как у цивилизованных людей. Я мучился, наверное, двое суток. И когда забил последний гвоздь, понял, что прибил этот несчастный стульчак со стороны ножек табуретки, — вся семья была в истерике. И я вспомнил Зяму. Он бы соорудил за две минуты самый красивый и удобный уличный сортир в подлунном мире. Он сделал бы трон.



## ЗАХАРОВСКИЙ ПРОЕЗД

Марк Анатольевич — режиссер в законе. Он режиссер своего существования и существования окружающих. Он режиссирует спектакли, быт, досуг друзей, выступления, панихиды.

Вот в далекой юности он режиссирует наш ночной пикник около аэропорта Шереметьево: раскладывает в лесу три костра и при заходе на посадку самолета велит всем визжать и прыгать, предлагая лайнеру приземлиться. Сам же из чувства протеста машет на самолет руками и орет: «Кыш! Кыш отсюда!»

Однажды он, Григорий Горин и Андрей Миронов приперлись ко мне на день рождения. Вошли во двор и видят: валяется ржавая чугунная батарея парового отопления. Им захотелось сделать приятное другу. Взяли эту неподъемную жуть, притащили на третий этаж.

Открываю дверь.

— Дорогой Шура, — говорит Горин, — прими наш скромный подарок. Пусть эта батарея согревает тебя теплом наших сердец...

— Шутка, — говорю, — на тройку. Несите туда, где взяли.

Они, матерясь, тащат проклятую батарею во двор и бросают на землю. И вдруг Захаров говорит:

— Чтобы шутка сработала, ее нужно довести до абсурда.

Они вновь берутся за батарею и опять тащат ее на третий этаж.

Открываю дверь.

— Дорогой Шура, — говорит Андрей Миронов, — прими наш скромный подарок!

— Вот это другое дело, — говорю. — Вносите!

Основные импульсы режиссерской фантазии Захарова — это всегда удивить и пугануть. Уезжал я как-то в город Харьков сниматься в очередной малохудожественной картине, провожаемый на вокзале Мироновым и Захаровым. Как только поезд отошел, режиссерская интуиция подсказала Захарову: «Надо Маску (моя партийная кличка) пугануть». Они помчались ночью к главному администратору театра, выклянчили денег, бросились во Вну-

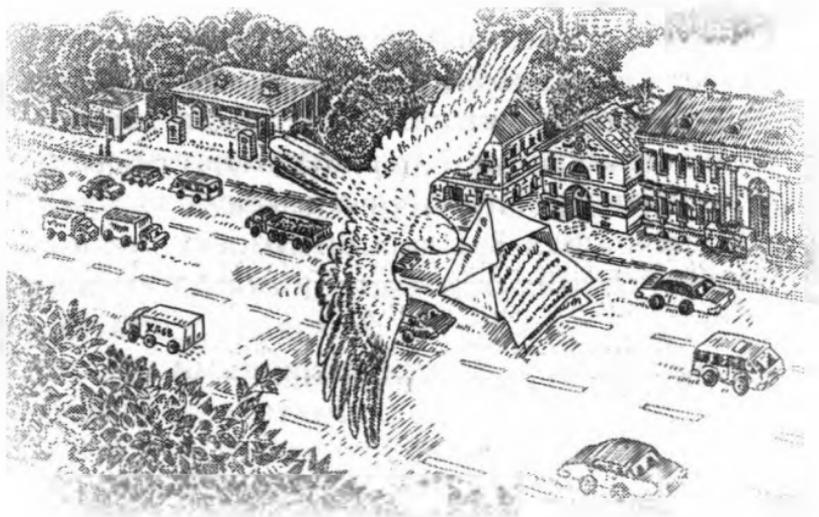
ково и утром встречали меня в Харькове. Пугали...

Но чем резче его куда-либо куражно заносит, тем жестче он возвращается на проезжую часть своего бытия. В этом смысле дружба с ним напоминает мне эпизоды из чаплинских «Огней большого города», где миллионер всю ночь проводит с Чаплином в дружеском пьяном экстазе, а утром его не узнает.

Чем крупнее личность, тем опаснее ее случайное осмысление. Поэтому личности вынуждены быть закрытыми от обывательских расшифровок. Таков Захаров. Видимость внешнего благополучия обратно пропорциональна внутренней тревоге. Его резкая смелость чревата страшными послепоступковыми муками. У него цепкая, даже злопамятная эрудиция. Это тяжкий груз. Он аналитичен и мудр. Анализ мешает непосредственности, мудрость тормозит импровизацию. Для этих целей он держит меня.

В дружбе он суров и категоричен. «Худей! Немедленно!» Я худею. «Хватит худеть! Это болезненно!» Я толстею. При этом он щедр и широк. Велел мне, например, носить длинные эластичные носки для укрепления отходивших свое ног. Я сопротивлялся, ссылаясь на отсутствие носков в продаже, тогда он привез их мне из Германии — 12 пар, разного цвета, по 38 марок за пару — умножайте!

Но если честно, то я люблю его жену Ниночку, а он любит мою жену Таточку. Иногда мы для приличия встречаемся вчетвером и играем в покер.



## РЯЗАНОВСКОЕ ШОССЕ

Я всю жизнь завидую Рязанову. Завидовать таланту стыдно, но, слава богу, кто-то придумал, что зависти бывают две — черная и белая. Я завидую белой.

Я завидую его мужеству, моментальной реакции на зло и несправедливость, выраженной в резких поступках. Я завидую его стойкой и вечной привязанности к друзьям. Я за-

видую диапазону его дарований. Я завидую силе его самоощущения. Я преклоняюсь перед формулой его существования: «Omnia mea mecum porto» («Все свое ношу с собой») — он духовно и материально несет шлейф биографии, помнит и любит все, что с ним случилось.

Он очень крупный! Даже когда ему удастся похудеть, он не уменьшается, а превращается в поджарого слона.

Суммируя свои ощущения от личности друга, я послал к его 70-летию

ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ,  
адресованное зарубежной общественности,  
от артиста, человека и гражданина  
Ширвиндта Александра Анатольевича

Копии:

- Генпрокуратура России;
- контора дачного поселка  
«Советский писатель»;
- Международный суд, г. Гаага.

Дорогие друзья (обращение условное)!

Пользуюсь случайной возможностью проявить на бумаге долголетнюю травлю меня как личности, как художника и, по паспорту, мужчины — со стороны человека, которому посвящаю данное печатное послание.

В течение последних 40 лет (первые 40 лет я не помню, и слава богу) так называемый юбиляр использовал меня в корыстных для себя целях.

Но по порядку и коротенько.

1. В к/ф «Ирония судьбы», прикидываясь другом, он завлек меня в баню, где спаивал пивом с водкой, к чему я с тех пор пристрастился, не имея на это ни финансового, ни физического права.

2. В холодном павильоне «Мосфильма» пробовал меня на главную роль в к/ф «Зигзаг удачи» в эротической сцене, положив в постель с актрисой С. Дружининой, которая в целях утепления и боязни главного оператора картины Анатолия Мукасея, ее мужа, лежала под одеялом в тренировочном костюме, чем окончательно похерила зачатки «порно» в советском кинематографе. В результате в фильме сыграл Е. Леонов, а Дружинина с перепугу стала кинорежиссером и безостановочно снимает гренадеров.

3. В фильме «Гараж» т. н. юбиляр предложил мне без проб сняться в одной из главных ролей, но в последний момент испугался В. Гафта как пародиста и «убийцу в законе» и позвал его.

4. В период застоя так называемый юбиляр долго шептал мне на ухо, что хочет создать острый фильм «Сирано де Бержерак», и брал меня без проб на роль графа де Гиша. При этом только для того, чтобы не снять меня в очередной раз, утвердил на роль Сирано Е. Евтушенко, в то время опального поэта. Фильм закрыли. Евгений перестал быть опальным поэтом, а я кем был, тем и остался.

5. В фильме «Старики-разбойники» он опустился до того, что уговорил меня сыграть в мелком эпизоде, который в титрах формули-

ровался «а также», и моя фамилия стояла последней — вроде по алфавиту.

6. «Забытая мелодия для флейты» — снимал Ленечку Филатова, чтобы тот его помнил, а я не запомнился ни себе, ни зрителю.

7. В ленте «Вокзал для двоих» эпизода для меня не существовало вообще, но этот садист убедил меня сниматься, велел все придумать и написать слова самостоятельно. Я украсил собой эти две серии, но ни авторских, ни потиражных до сих пор не видно.

8. Наконец, последняя экзекуция — фильм «Привет, дуралеи!». Тут этот вампир дошел до физического надругательства, исковеркав мою природную самобытность, — укурносил нос, выбелил волосы, разбросал по телу веснушки и даже хотел вставить голубые линзы, доведя меня до киркоровского абсурда, — я не дался, и он затаился до следующей картины.

При этом он не устает кричать, что я его друг и мне все равно, в чем у него сниматься. Нет! Хватит! Прошу его обуздать или еще чего-нибудь резкое сделать, а пока возместить мне в твердой валюте мягкость моего характера...



## ОСТАНОВКА ТЕАТР ЭФРОСА

Эфрос был круглосуточным режиссером. Он ни секунды не мог быть не режиссером. Он разговаривал и режиссировал, ел и режиссировал. Единственный человек, от которого он немножко уставал, это — Гафт. Я помню, как Валя пришел в «Ленком», и мы отправились куда-то в Подольск с выездным спектаклем. Валя только что ввелся в спектакль «104 страницы про любовь» и в автобусе все пытал Эф-

роса: «Может, так? А, может, так?» Полдороги тот с ним репетировал, но потом устал — напор и маниакальность Вали перешибли даже эфросовские.

Сейчас есть такое клише: предали Эфроса. Его ученики и артисты поделены на тех, кто предал, и тех, кто не предал. Сын Эфроса Дима Крымов написал пьесу «Долгое прощание» в форме эссе к юбилею отца. Толя Васильев начал репетировать. Там артисты, которые работали с Эфросом, вспоминали о нем в такой светло-сентиментальной манере (к сожалению, спектакль не состоялся). И я тоже был позван в эту высокую компанию... Предателем не считаюсь.

Да и, если разобраться, история простая. Когда Эфрос пришел в «Ленком», три четверти труппы ему обрадовались. Биография этого театра — взбесившаяся кардиограмма инфарктника: пики — провалы, пики — провалы. Перед Эфросом образовалась так-а-а-я яма.

Но всякие инъекции нового лекарства в сформировавшийся организм очень часто чреваты отторжением, даже если организм хочет испробовать на себе новое чудодейственное средство.

Когда Эфроса, наконец, приняли в «Ленинский комсомол», то эта «кислородная подушка» на измученный большой коллектив подействовала неоднозначно. Кто-то сломя голову бросился в этюдный метод, как бросаются без подготовки в глубокую воду, чтобы научиться плавать, — либо выплыву, либо потону. Другие сразу решили, что это «не их», и образовали

привычную оппозицию. Третьи остались «на берегу», чтобы посмотреть, чем кончится первый заплыв.

Премьером Театра имени Ленинского комсомола был Геннадий Карнович-Валуа, любимец Берсенева и Гиацинтовой, высокий, красивый, с удивительным бархатным голосом, сыгравший массу центральных ролей в разные периоды жизни театра. Он имел родовую графскую фамилию и отца — тоже Карновича и тоже Валуа — артиста Ленинградского БДТ. Отцу принадлежит знаменитая фраза, обращенная к нам во время гастролей в Ленинграде на ужине, устроенном им в квартире, старинное убранство которой оправдывало окончание их фамилии: «Мои молодые друзья, — фирменным семейным голосом произнес он, — запомните: если не играть и не репетировать — лучше нашей профессии нет».

Так вот, Геннадий не понимал, почему он должен садиться за школьную парту и начинать все сначала. Он присматривался! А кругом бушевали новые единомышленники — боролись, что-то доказывали, сплотясь под знаменем лидера. Наконец, так и не уяснив происхождения, но почуввав, что может остаться за бортом, он подошел ко мне и тихо спросил: «Шурка, а против кого вы дружите?» Я, как мог, обрисовал ему святость наших замыслов и чистоту взаимоотношений, он поверил и произнес: «Знаешь что, возьмите меня в вашу банду...»

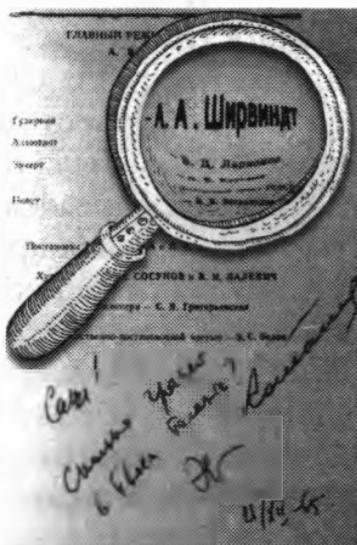
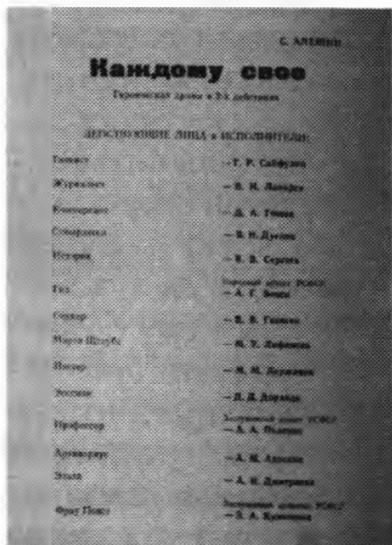
Эфрос был никаким художником. Сейчас, сидя в аналогичном кресле, я это понимаю как никогда. У настоящих художников есть внутренняя стратегия поведения: «кнутом и пряником». К этой позиции многие мои друзья призывали и меня. Я согласно кивал и даже пытался, но увы. Когда кнут находится в руках у пряника...

В «Ленкоме», например, художником долгие годы был Иван Николаевич Берсенев. Прозвище в кулуарах — Ванька-Каин. Вот он был великий художник. Он ставил «Нору». И как только наверху открывали пасти: «Как это «Нора» в Театре имени Ленинского комсомола?!» — он — раз — и тут же создавал комсомольский спектакль «Парень из нашего города». И этот баланс держал идеально.

Эфроса политика никогда не интересовала. Он начал ставить «104 страницы про любовь», «Снимается кино» — сразу же возникли сложности. Ему все кругом стали говорить: надо что-то и для ЦК комсомола сварганить. И он принес пьесу Алешина «Каждому свое». Написана она была на основе реального факта: наш танк ворвался на страшной скорости в тыл врага и начал крушить все вокруг. Ну, такой камикадзе. Эфрос прочел это на художественном совете. Мы попытались ему объяснить, что, мол, фанера, ужас. А он нам стал доказывать, что это глубочайшая, трагическая история. Он нам не говорил: давайте это сыграем для начальства, поставим для галочки, чтобы отстали, — нет! Не создав этого спек-

такля, в искусстве дальше жить нельзя! И уговорил. Сайфулин играл танкиста, я изображал Гудериана. Седые виски, красавец — такой мудрый, усталый фашист. Державин играл какого-то надсмотрщика в Освенциме... И до самого конца Эфрос убеждал нас, что это нужно и важно. И ведь смотрели. Удивлялись, конечно, но все-таки пробирало, горло все-таки перехватывало.

Это был его метод работы с материалом, работы с актером: вынимать из любого материала драматизм. Кто-то больше приспособлен к такому способу работы, кто-то меньше. Я меньше. Я актер совсем другого разлива. Когда мы встретились, я был уже весь в «капусте». Эфрос писал в книге «Репетиция — любовь моя», что «многолетнее увлечение «капустниками» сделало мягкую определенность характера Ширвиндта насмешливо-желчной», что



«Ширвиндту не хватало той самой мўки...», что «ему надо было как-то растормошиться, рас-тревожить себя».

Я помню, как Эфрос влюблялся в Ольгу Яковлеву. Она была еще студенткой, шли какие-то показы. И вот ее мяукающий звук остро зацепил, что-то в ее индивидуальности его дико взволновало. Ольгина способность доводить любую сценическую ситуацию до щемящего драматизма была настолько идентична трофике Эфроса, что с первых шагов в «Ленкоме» их творческий тандем приобрел знаковую стилистическую силу и позволил из милой запорожской девочки образовать выдающуюся актрису. Я ее люблю, пользуюсь взаимностью, благодарен за счастливое партнерство и дружбу.

Способность убедить актера у Эфроса была феноменальная! Задумал он ставить «Ромео и Джульетту». Позвал меня. Заперлись. Говорит: «Саша! Я долго сомневался и, наконец, решился. Давай рискнем! Ты знаешь, я мечтаю о «Ромео и Джульетте». После, не скрою, многих мук и сомнений остановился на тебе».

«Боже, — думаю, — уж не хочет ли он перевернуть все вековые традиции и обрушить на зрителя Ромео в моем лице?» Нет! Оказывается, у Шекспира главный персонаж — не Ромео. Вся эта история зиждется на одном герое, не угадав с которым можно не прикасаться к по-

становке... «Будем пробовать, — говорит Толя, — искать, мучиться, а вдруг состоится?..»

Итак, премьера. Четыре часа я сижу в гримерной, а к концу спектакля, напялив тяжелейший кафтан в виде перьев какой-то сказочной птицы — полугрифа-полувороны, выхожу на сцену и произношу: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте».



Было немножко стыдно, но сознание, что не подвел Эфроса и достойно сыграл главную роль в «Ромео и Джульетте», несколько смягчало ощущение конца актерской биографии.

Очень редко хвалил! Иногда приходил после спектакля в гримерную и плакал. Это был огромный подарок — эфросовские слезы. И я

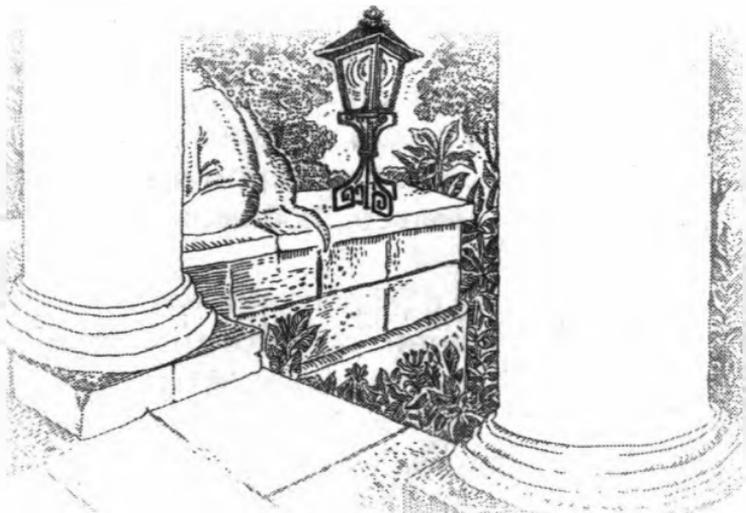
получал его несколько раз. В «Снимается кино» и «Счастливых днях несчастливого человека».

Появлялись новые актеры — новые увлечения. А что делать нам, аборигенам влюбленности?

Эфрос обещал мне, что я сыграю Дон Жуана в театре, но возник незабвенный Коля Волков... Однако, помня об обещании, Эфрос предложил мне эту роль в телефильме. И я ничуть не жалею — моим партнером был Любимов, Любимов — Мольер, Любимов — Сганарель.

Мои отношения с Эфросом отличались от его взаимоотношений со многими моими коллегами. Там была или любовь до гроба, или смертельный разрыв. А я общался с Анатолием Васильевичем очень долго, и расставались мы грустно, но не врагами.

Когда сейчас возникает разговор об Эфро-се, я пугаюсь максималистских суждений и бурных эмоциональных всплесков. Эмоции мешают осмыслению. Главное — надо помнить, что в судьбе актера встречи с такими уникальными художниками, как Эфрос, единичны. И оставляют след на всю жизнь.



## УГОЛОК ДУРОВА

Вспоминая эфросовский «Ленком», нельзя не говорить о Дурове.

Мы со Львом Константиновичем находимся в том критическом возрасте, когда уже очень не хочется врать. Вернее, все равно хочется, а нужно остановиться.

Ну, во-первых, Лев Константинович — замечательный артист. Это знают все, и врать об этом бесполезно. Наверное, немногие знают,

что именно Дуров привел Анатолия Васильевича Эфроса в Театр имени Ленинского комсомола. Это уже потом из-за каких-то сложностей отношений между ними (возникших не без помощи массы «благожелателей») их пути несколько разошлись. Что жалко. Но эфросовский «взрослый» театр, то есть период работы после Центрального детского театра, начался именно с подачи Льва Константиновича.

Сложилась такая несколько наигранная комбинация: раз Станиславский с Немировичем договаривались о создании нового театра, сидя в каком-то кабаке, то и мы решили собраться в ресторане гостиницы «Центральная» и поговорить о том, чтобы Эфрос возглавил «Ленком». Помню, мы втроем сидели за столом и обсуждали, как будет прекрасно, если Эфрос придет в этот театр. Эфроса приходилось уговаривать — он очень боялся перехода в театр с таким названием, с таким, как сейчас модно говорить, брэндом.

Надо заметить, что я был знаком с семьей Эфроса достаточно близко в силу того, что я родственник Наташи Крымовой, жены Анатолия Васильевича. То есть, с одной стороны, я был молодым артистом Театра имени Ленинского комсомола, а с другой — родственником, и мое мнение оказывалось субъективным. А основным двигателем всего процесса стал Левка, и результата он добился.

Левка вообще являлся фанатом Эфроса до вот этих всех катаклизмов, которые потом между ними произошли.

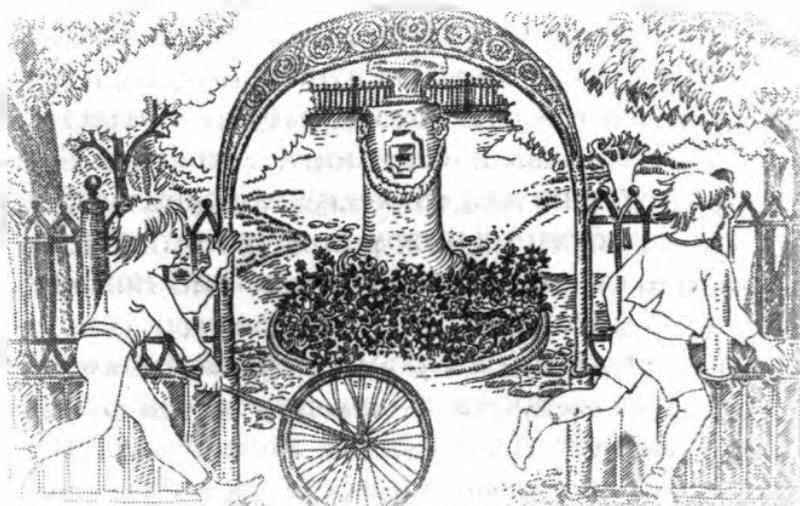
Дурова я знаю изнутри. Знаю, какой он резкий, ранимый и непредсказуемый. Он очень хороший артист и может играть всякое, но есть в нем какой-то стесняющий его внутренний зажим. Он как бы боится выйти из своих привычных рамок, и это ему прежде немного мешало. Но сейчас, уже к зрелости, он отбросил эту внутреннюю скованность, стал раскрепощеннее, шире, мягче. А мягкость в его характере всегда нужно было искать. Дуров — замечательный боевитый мужик. Сколько мы с ним дрались в жизни — конечно, не с ним персонально, а вдвоем против кого-то при самых идиотских стечениях обстоятельств; сколько было выпито... При этом он совершенно патологический семьянин. И я его очень понимаю: сам в этом смысле выродок. Лев Константинович — это патологический муж, патологический папа и патологический дед.

Левка всегда находился в прекрасной физической форме. У нас в «Ленкоме» была своя футбольная команда, довольно крепкая на театральном уровне. Как-то раз, на гастролях в Челябинске, мы приняли участие в одном незабываемом матче. Нашим противником на футбольном поле стала знаменитая в этом городе команда с несколько странным названием — «Вышка». Мы даже думали, что она состоит из охраны какого-нибудь лагеря. Но, как потом оказалось, это была команда челябинских телевизионщиков. Причем играли они чуть ли не профессионально и страстно желали победить новеньких. Лично я ужасно пло-

хой футболист, и меня всегда ставили в защиту, потому что людей не хватало. А в это время к нам приехал великий футболист Игорь Нетто, муж Ольги Яковлевой. Был еще с ним нападающий из «Спартака». Они вдвоем могли выиграть у любой «Вышки». Но поскольку эти люди были узнаваемы, их пришлось загримировать. Игорю надели парик, а второму, заслуженному мастеру спорта, сделали фингал под глазом и перевязали. Они у нас числились рабочими сцены. Единственный, кто играл с ними на равных в нападении, — это Левка. Когда он долго не мог обогнать кого-то, он бежал, бежал, бежал, а потом прыгал противнику на спину, как гепард на буйвола, и на нем висел.

И все-таки в спектре многочисленных талантов Дурова кое-чего не хватает — он вялый автомобилист. Плохо ездит. Но я думаю, что это не самый большой недостаток в человеческом существе.

На своих творческих вечерах Левка всегда появляется с огромным количеством замечательных баек, рассказов и воспоминаний. Получая за эти полтора часа, условно говоря, десять рублей, он должен мне авторских рубля четыре, потому как я фигурирую в его историях минут двадцать пять — Левка любит просвещать всех на предмет наших с ним взаимоотношений, рассказывать о моем хамстве и т.п. Так что для благосостояния его семьи я сделал очень много.



## СКВЕР ПЛУЧЕКА

Любить нельзя уговорить. Или есть любовь — или только производственная необходимость. Артисты всегда ссылаются на интриги, непонимание, травлю... Никогда Плучек не был в меня влюблен — я ему был просто нужен.

Но идут годы, и, как мелкая шелуха, отпадают все местечковые театральные обиды, пустые амбиции, ожесточенные схватки неиз-

вестно из-за чего, и, как чистый мрамор на могиле Валентина Николаевича, навсегда остается большой художник, отдавший жизнь театру.

«У времени в плену» — один из самых темпераментных спектаклей Плучека. Почему? Плучек сам прожил жизнь в плену у времени. Как жить пленнику в искусстве? В плену идеологии, мира замкнутого пространства, вечно-го дамоклова меча цензуры? Как не сломаться, не устать, не сдаться? Ответ один: Плучек — личность космического интеллектуального измерения. В самые пиковые моменты сосуществования с советской действительностью он уходил в свое пространство одиночества, где ему было комфортно, интересно и даже весело. Пленник времени — он это время с азартной смелостью атаковал и побеждал неоднократно.

Нынешние homo sapiens сами взяли время в плен. Они не знают, что делать с обрушившейся на них властью, и безвольно-инфантильно разобщаются. Плучек был человек гордый. Никогда никакие регалии (а их было множество) не прилипали к нему. Его организм отторгал все бирки бессмысленных словообразований перед фамилией. Он был Плучек — коротко, мощно, вечно.

Право на посмертность — великое право, слава богу, не узаконенное еще в нашем правовом государстве. Это не народная тропа, вытопанная стадом любопытных. Незабвенность — это вклад личности в хронологию мировоззрения. У Плучека там целая глава.

Плучек — натура поэтическая. Я очень люблю заглядывать в словарь Даля, чтобы прояснить корневую первооснову какого-либо понятия. Там «поэтический дар — отрешиться от насущного, возноситься мечтою и воображением в высшие пределы, создавая первообразы красоты». Это Плучек.

Мейерхольд и Пастернак — его кумиры. Вот четверостишие Пастернака из стихотворения «Мейерхольдам»:

Той же пьесою неповторимой,  
Точно запахом краски, дыша,  
Вы всего себя стерли для грима,  
Имя этому гриму — душа.

Это Плучек.



## ПЕРЕКРЁСТОК АХМАДУЛИНОЙ И МЕССЕРЕРА

Белла Ахмадулина и Борис Мессерер. Эта пара — удивительная.

Она — живой гений. Он — муж, брат, нянька, поклонник, цербер и академик. И все это под одной крышей.

Нельзя совмещать дружбу со службой. Сколько замечательных театральных работ за плечами Мессерера. Сколько призов и званий на этих же плечах и сколько вынужденных с его стороны наших совместных свершений.

Началось это со спектакля «Маленькие комедии большого дома», когда мы с Мироновым, получив от Плучека благословение на постановку, тут же ринулись за помощью к друзьям и в первую очередь, конечно, к Мессереру. Он прочел пьесу, вздохнул и уныло согласился.

Чем ближе подходил репетиционный финиш, тем катастрофичнее выглядела ситуация с оформлением. Мессерер ныл, просил пардону, говорил, что не может переступить через собственное «я» и воздвигнуть на сцене советскую новостройку, ибо сам — из архитекторов и не понаслышке знает, что это такое.

Мы с Андреем бились в истерике и за несколько дней до срока сдачи макета художественному совету связали Мессерера и потащили его на строительную выставку, которая существовала тогда на Фрунзенской набережной и внутри которой в холодной безлюдности стояли скелеты достижений советского градостроения.

Дальше события развивались так: Андрюша встал на стреме, обрушив всю мощь своего обаяния на древнюю старушку-смотрительницу, а мы с академиком судорожно отрывали от пьедестала макет блочной многоэтажной башни. Расчленив макет на составные и засунув блоки под рубашки и в брюки, мы мигнули подельнику и, чинно полемизируя о судьбах советской архитектуры, вынесли экспонат на волю.

Это было лет тридцать тому назад, но думаю, что до сих пор никто не хватился этого шедевра.

Так как художественный совет театра не подозревал о существовании выставки, макет, наспех склеенный Мессерером, был благо-склонно принят руководством, и через некоторое время башня уже торчала на сцене театра и имела вполне большой зрительский успех вместе со спектаклем.

Но черт с ним, с творчеством. Дружить с Борей необходимо, но трудно. Когда он встревожен, он совершенно теряет чувство юмора, к счастью, ненадолго, хотя встревожен он часто.

Белла непредсказуема. Самобытная внешняя красота и высокий талант редко совместимы, как хрестоматийные гений и злодейство. В этом контексте всегда вспоминают прекраснейшую Анну Андреевну Ахматову. Но наша лучше.

По сегодняшним компьютерным параметрам Белла — монстр: она пишет письма, причем авторучкой. Письма эти — наглядный пример изящной эпистолярной словесности.

Однажды я получил от нее письмо из Боткинской больницы:

*«Мой дорогой, прекрасный Шура!*

*Зная твое великодушие, обращаюсь к тебе с причудливой просьбой, обещая впредь исполнять любые твои желания, прихоти и капризы, даже если они будут загадочнее моего послания.*

*Но тебе во мне — какая нужда, а твое величественное и многославное обаяние влияет если не на самого доктора Боткина, то на угодыя его больницы — несомненно, о прочих жертвах твоего образа и говорить излишне.*

*Нижайше прошу: перепиши своей рукой посылаемый мною текст, приложи к нему любую твою фотографию с надписью: «Андрею — привет и пожелание наилучших успехов». Сему Андрею — пятнадцать лет, а мама его — мой любимый лечащий врач, под чьей нежной опекой я совершенствую несвежее здоровье, в оставшееся время потисывая множество вздора, составившего две новые книжки».*

И так далее.

Она сердобольна и отзывчива. Любит только тех, кого любит. Ах, если бы записать все эпитеты, которыми награждала Беллочку покойная подруга моей мамы Анастасия Ивановна Цветаева!

Белла монументально смела и стойка. Впечатление наивной незащитности, воздушности и отрешенности от повседневного бытия усугубляет точность хладнокровно-безжалостных и подчас убийственных оценок. Так, например, рассуждая об опасности грядущего, она вздыхает: «Чтоб в нашу безответную посмертность пытливо не проник Виталий Вульф».

Или, когда генерал Лебедь стал губернатором, она горестно произнесла: «Бедный Лебедь! Теперь ему предстоит пройти путь от Одетты до Одиллии».

Я люблю их нежно, но редко, так как Борис Асафович все время обижается, и поэтому любовь у нас, как мое сердце, — с перебоями.



## ФЕДОРОВСКАЯ МАГИСТРАЛЬ

Эрнст Неизвестный как-то заметил, что если мощность накала лампочки принято измерять в ваттах, то мощность таланта следует измерять в «моцартах».

Надо успеть сказать слова о Моцартах, ушедших из жизни. Из моей, из жизни народа этой подозрительно сальериевской эпохи...

Слава Федоров... Что это за инопланетянин, посетивший наш сдувающийся земной шарик?

Сел писать и начал фантазировать... Предположим, я не знаком с Федоровым. Не знаю, кто он и чем занимается. Мы с женой случайно свалились ему и Ирэн на голову из виртуальной действительности. И они нас гостеприимно пригласили к себе в Славино.

Дальше документально. На развилке Дмитровского шоссе и какой-то полуасфальтированной дороги нас поджидает, чтобы не заблудились, серебристый «Мерседес». В нем, на переднем сиденье, — просто невероятная красавица лоллобриджидовского типа, а за рулем — плотно сбитый мужчина с ежиком волос, как будто специально выращенным под цвет «Мерседеса». Разворот... и машина улетает со скоростью 140 километров в час. Ну и ас у нее в водителях!

Подкатив к усадьбе, моментально попадаем к накрытому на веранде столу с натуральной водой, натуральной закуской и абсолютно натуральной водкой. «Водитель» выпивает с гостем, и гость понимает, что функции первого на шоферской профессии не кончаются.

«В путь!» — говорит хозяйка, и «водитель» выкатывает из гаража свежий 750-кубовый мотоцикл. Красавица садится позади в седло, и с той же мерседесовской скоростью мы мчимся по шикарным «троекуровским» владениям.

«Ага! — догадывается гость. — Это ее экспериментальное помещичье хозяйство, а мотоциклист — управляющий».

Домчались до молокозавода. Выбегают белокрахмальные дамы со свежим творогом,

сметаной, молоком, дают с собой. На горизонте в стиле Коро вырисовывается ухоженное стадо коров. Крахмальные дамы, провожая нас, кланяются «мотоциклисту» в пояс. «Крепостные, — думает гость. — Хотя нет, общаются вольно, смотрят влюбленно и искренне». Подъезжает «газик» с тремя офицерами. Они выходят, отдают честь «управляющему», благодарят за что-то, о чем-то просят. «Охрана, — почти уверен приезжий. — А может, и подшефная воинская часть».

Едем дальше. Шикарная конюшня: мудрые, немолодые, но чистейших кровей лошади. Многих из них гость — в прошлом завсегдатай ипподрома — узнает в лицо. Они его нет.

«Управляющий» показывает своего любимого коня. «Так это конюх!» — догадывается гость. Нет, опять не угадал.

Дальше путь идет по-над коттеджным поселком, где интеллигентные аборигены копаются на приусадебных грядках. Все в пояс кланяются «конюху» и машут красавице рукой. Фантаσμαгория продолжается: милый священник около уютной церквушки кланяется «мотоциклисту» как самому патриарху. Огромный гостинично-бильярдный комплекс, где идут строительные работы, замирает при подъезде нашей кавалькады. Вертолетная площадка — будь она трижды проклята! — и вот мы уже взмываем над водохранилищем, и «мотоциклист-вертолетчик» показывает владения с высоты птичьего полета.

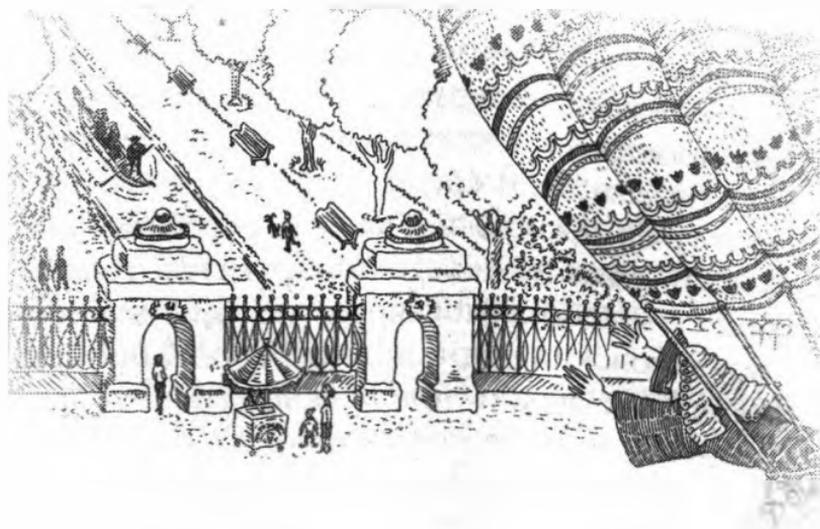
А тихим вечером он потчует гостей в уютной беседке на берегу. Где-то вдали земснаряд

чистит дно водохранилища, шкварчат на огне только-только выловленные карпы. Водка по-прежнему хороша, мягко струится свет с экрана видеомагнитофона... а «мотоциклист» внимательно и очень по-детски, — очевидно, в сотый раз — смотрит фильм о микрохирургии глаза, иногда поглядывая на реакцию гостей.

«Ах! — восклицает виртуальный гость. — А «мотоциклист»-то еще и глазной хирург!»

Сам я знаю о проблемах, которые может доставить болезнь глаз, не понаслышке. Моя мать под старость провела долгие годы в полной слепоте, потому для меня слово «глаз» связано с какой-то мистической неприкосновенностью и опасностью. Близко к нашим глазам, как и к душе, можно допускать только гениев, обладающих, наверное, таким титаническим талантом и темпераментом, каким обладал Слава... Мать, к сожалению, не дожидаясь операции у Славы. И я не смог воспользоваться его приказом: «Приходи ко мне, будешь жить без очков».

Прооперировался у его ученика.



## ПАРК СМОКТУНОВСКОГО

Никак не мог подступиться к чистому листу, чтобы начать писать о Смоктуновском, ибо представляешь себе глобальность фигуры и количество эпитетов, нарисованных на этой личности. Поэтому, покопавшись в выгребной яме своей эрудиции, отрыл эпизод биографии Иннокентия Михайловича, мало кому известный...

Это было тогда, когда словосочетание «совместное производство» приводило в трепет советскую актерскую особь.

Итальянский кинорежиссер Джорджио Ферраро — элегантный и денежный русскоязычный выпускник ВГИКа — пробил проект совместного советско-итальянского фильма «Осада Венеции», в основе сюжета которого лежал якобы исторический факт: за молодой и дико богатой венецианской красавицей-вдовой бросилось в погоню несколько отчаянных ловеласов, и среди них был лихой русский граф. Джорджио, как иногородний режиссер, знал из советских артистов только троих — Смоктуновского, потому что он Смоктуновский, Ларионова, который проник на мировые экраны при помощи Никиты Михалкова, и меня, потому что когда-то нас познакомил Андрей Миронов и мы даже были его гостями в Риме во время гастролей театра. Так как фильм планировался совместный, то, естественно, необходим был некоторый процент наших актеров. Молодого распутного графа никто из вышеназванных актеров играть уже не мог — его доверили Саше Абдулову по нескольким компетентным рекомендациям, а нам уготовили страшную миссию — троих инквизиторов, следящих за героиней, допрашивающих и мучающих ее всячески. Поскольку инквизиторского опыта у нас не было, мы играли эдакую «тройку» ВЧК, но в балахонах-рясах и длинных пудренных париках. Рассказываю об этом подробно, потому что

фильма никто не видел и, боюсь, теперь уже вряд ли кто-нибудь увидит.

Сомнений перед съемками у «инквизиторов» возникло — масса. Во-первых, пытаться героиню надо было на английском языке. Во-вторых, требовалось освободиться на пару месяцев от других актерских обязанностей, что с трудом получалось при различных рабочих графиках «инквизиторов». Но Иннокентий Михайлович — первый инквизитор, как было обозначено в сценарии, — сказал нам, что Венеция дается человеку один раз, что английский он немного знает, что Ларионов моментально схватывает мелодику любого языка, а что с этим (мною) языковым дебилом они вдвоем справятся.

«Потом, не надо забывать, — инквизиторским шепотом произнес первый, — итальянская сторона намекнула на валютное вознаграждение». Последнее произносилось с оглядкой и в дальнем углу помещения, где сомневались будущие инквизиторы. И, встав под смоктуновские знамена, мы начали укладывать чемоданы.

Перед выездом в Венецию оказалось, что договор с нами все же подписывает «Мосфильм», так как мы — советская сторона, и долларовая часть гонорара зависла где-то на горизонте, а чемоданы вовсе негодились, поскольку Венецию в чистом виде воздвигли на плешке за гаражами «Мосфильма» — Венецию настоящую, с каналами и дворцами. В общем, мы и ахнуть не успели, как уже плыли в гондоле в сторону Ленинского проспекта.

Я не устаю поражаться способности больших актеров делать любую работу как главную, уметь сосредотачиваться на каждой мелочи до конца и не стесняться своего трудолюбия. Вот снимают нас, инквизиторов, в Сандуновских банях. Три голых инквизитора, воображая себя лежащими в каких-то серных термах, расслабляются перед очередным раундом допросов. Профессиональные банщики-массажисты из Сандунов с лицами, очень отдаленно напоминающими итальянских дождей, упорно трудятся над нашими телами. Дубль! Еще дубль! Жарко, потно, но не смешно. Наконец первый инквизитор вскакивает со своего мраморного ложа и с криком «Да не так!» — оказывается у меня на спине и под овацию совместного производства исполняет на мне какой-то жуткий танец-аттракцион, крича при этом: «Снимайте, снимайте!» Так что, если кому-нибудь посчастливится увидеть кинофильм «Осада Венеции», знайте, что в эпизоде «Баня» — ноги, танцующие на моей мыльной спине, принадлежат великому (вот не удержался от эпитета, но в данном случае он необходим) актеру.

«Тщеславие» — противное слово, потому что составлено, очевидно, из «тщетности» и «славы», то бишь — тщетное желание славы. Слава Смоктуновского пришла от тщательности труда. Он не умел расслабляться, хотя понимал, что это необходимо. В редкие минуты межсъёмочной пустоты, сидя в обветшалой мосфильмовской гримерной, Кеша вдруг говорил: «Шура, расскажи еще раз, а то я никак

не могу ухватить финальную интонацию». И Шура в десятый раз рассказывал, а Иннокентий Михайлович в десятый раз заливался детским смехом.

Итак, любимый анекдот Смоктуновского:

«Зима. Заснеженная деревня. В избе двое стариков. Дед, напялив очки, читает бабке письмо от внука из города: «Дорогие бабушка и дедушка, все собирался вам написать, но стеснялся признаться. А сейчас решился. Когда я жил у вас летом и однажды бабушка пошла доить, а дедушка — на реку, я залез в чулан, взял большую банку вишневого варенья и всю ее съел. Потом испугался, что вы рассердитесь, накакал полную банку, закрыл ее и поставил на место». Дед снимает очки, смотрит на бабку и произносит: «Ну, старая, я ж тебе говорю, всю зиму едим говно, а ты «засахарилось, засахарилось!»»



## КВАРТАЛ АРЦИБАШЕВА

Безвольно обожаю людей, которые меня любят. Какое-то извращение по теперешним стандартам. Сегодня настоящую страсть вызывают только враги или, на худой конец, оппоненты.

Очевидно, я крайне старомоден.

Так как я атавистически древней половой ориентации, то моя тяга к Арцибашеву не ок-

рашена физиологией. Он, насколько я знаю, тоже упорно и успешно проповедует древние каноны разнополюх взаимоотношений. Так что, отбросив этот повод нашей дружбы (а я льщу себя надеждой, что мы друзья), вынужден искать иную причину своей глубокой симпатии.

Мое поколение с молоком школьных учительниц всосало четкое представление о том, что человечество делится на положительных и отрицательных героев. Положительные — молчаливы, непьющи и любят Родину в любом ее качестве на данный момент. Отрицательные пьют, меняют женщин и сомневаются в качестве Родины.

А если все не так просто? А куда девать индивидуальность, характер, талант и ум? Куда прятать Пушкина, который говорил, что он жертва Бахуса и Венеры, и, если верить его «донжуанскому списку», знал более сотни женщин?

На мой взгляд, главное, что формирует личность, — это внутреннее сопротивление. Сопротивляемость творческого организма — единственный способ выживания.

Упертость и упрямство — не одно и то же, хотя, конечно, идут рука об руку. Эстетические театральные симпатии Сережи не взяты с потолка, а созрели изнутри.

Я очень редко хожу в «чужие» театры. Боюсь, может что-то понравиться и начнешь страдать, а идти и вожделенно радоваться чужому провалу я стесняюсь. Хожу я на все пре-

мьеры Марка Захарова (по давней дружбе и некоторой уверенности, что все равно будет чем, не краснея, восторгаться) и на «Покровку».

Первый раз я пришел на «Женитьбу» и сразу окунулся в атмосферу уюта и домашности. Помню, перед спектаклем вышел режиссер-постановщик в черном костюме и белых ботинках и бархатным голосом фрагментарно рассказал содержание пьесы, очевидно, учитывая неоднозначный интеллектуальный состав аудитории. Потом все-таки стали играть. Но играть не стали, а стали существовать. И это поразительное существование, при котором вранья боятся, как ящюра, сопровождало все спектакли «Покровки», какие я смотрел.

Единомышленники! Единомышленники — это когда «един» мыслит, а остальные боятся, гордятся, верят и стараются любить.

Мне фантазируется, что «Покровка» создавалась Арцибашевым как некий театральный Ноев ковчег, который он скрупулезно строил вместе со своими Симами, Хамами и Иафетами, их женами и всякой другой живностью, чтобы в день окончательного театрального потопа попросить бога замуровать двери и уплыть.

Но потоп никого не смутил, и соседние театральные Хамы прекрасно держатся на плаву в бушующем океане вседозволенности и всеядности.

Зачем Арцибашев пришел в Театр сатиры? Зачем вылез из ковчега? Очевидно, простран-

ственная келейность его уютной площадки дала импульс некоторой сценической клаустрофобии и побудила погулять на больших аренах. Сходились трудно, осторожно, с его стороны — даже брезгливо.

Покойный Гриша Горин переписывал свое произведение «Счастливец — Несчастливцев», на постановку которого и был спровоцирован Сергей Николаевич, по несколько раз в день. Артисты Театра сатиры, привыкшие обслуживать каждодневно 1300 зрителей, никак не могли понять, почему надо смотреть на сцене друг на друга и разговаривать по-человечески, а постановщик не знал, на что употребить такое количество квадратных метров сцены...

Пока пришли к этому гадкому слову «консенсус», много было криков, упреков и драм. Не нам судить о результатах — один результат налицо: не подрались, не рассорились, на кое-что друг другу даже открыли глаза и, более того, встретились снова. Встретились на новой работе нашего театра по пьесе Ануя «Орнифль, или Сквозной ветерок». В этой пьесе персонаж, которого я пытаюсь сценически воплотить, произносит: «Удивительная вещь — симпатия». Я по привычке заглянул в словарь Даля и вычитал: «Симпатия — беспричинное, интуитивное влечение к кому-то или чему-то...» Тогда я добрал до «интуиции». Она, оказывается, «непосредственное постижение истины без предварительного логического рассуждения».

Значит, я люблю Сережу беспричинно и без предварительного рассуждения. Надеюсь на взаимность. В работе это очень опасно, так как снижает планку требовательности, но авось пронесет.

Жизнь оказалась очень короткой, и всяческих «вех» в ней — считанные метры.

Арцибашев у меня — веха.



## • ДЕРЖАВИНСКИЙ МОСТ •

Державин и я — это уже явление биологически-клиническое. Зрительское ощущение, что мы, как сиамские близнецы, живем на мягкой сцепке долголетней пуповины, ошибочно. Мы играем разные роли в разных спектаклях. У нас разные жены, семьи, разные внуки, разные машины, разные характеры — все разное. Очень много эстрадных и даже театральных пар распалось из-за того, что невыносимо так

много времени проводить вместе. Или вот, например, конфликт: Карпов — Каспаров. У одного ужасный характер, у другого — еще хуже. А я уверен, что дело вовсе не в их характерах. Просто, когда десятилетиями сидишь друг против друга, нос в нос, захочется убить.

С Державиным поссориться невозможно — он не дается, несмотря на мой занудливый характер. В редких, крайних случаях он говорит мне: «Осторожней! Не забывай, что я — национальное достояние!» — «Где?» — спрашиваю я. «В нашем дуэте».

Он послушен, но осторожен. Он выходит на сцену с любым недомоганием — от прыща до давления 200 на 130.

Как-то он звонит мне днем, перед концертом, запланированным на вечер, и шепчет: «Совершенно потерял голос. Не знаю, что делать. Приезжай». Я приезжаю. Ему еще хуже. Он хрипит: «Садись, сейчас Танька придет (Танька — это его сестра), найдет лекарство из Кремлевки». А кремлевская аптека — потому, что женой Михал Михалыча в те времена была Нина Семеновна Буденная. Мы садимся играть в настольный хоккей. Михал Михалычу все хуже и хуже, Тани нет. Он хрипит: «Давай пошуруем в аптечке». И вынимает оттуда огромные белые таблетки: «Наверное, от горла — очень большие». Берет стакан воды, проглатывает. У него перехватывает дыхание. «Какая силища, — с трудом произносит Михал Михалыч, — пробило просто до сих пор...» Затем он начинает страшно икать, и у него идет пена изо рта. Я мокрым полотенцем снимаю пену.

«Вот Кремлевка!» — сипит Михал Михалыч. Тут входит Таня. Я говорю: «Братец помирает, лечим горло». И показываю ей таблетки. Она падает на пол. Оказывается, на упаковке на английском (которого мы не учили) написано: «Пенообразующее противозачаточное средство. Вводится за пять минут до акта». Он ввел и стал пенообразовывать. Ах, если бы я знал, что он предохраняется...

В разных городах мира — разные сценические возможности проводить встречи с артистами. Нет площадок. Слава богу, любая религия становится сегодня все более «светской» и шире смотрит на внедрение эстрады в свои святые стены. Державина можно занести в Книгу рекордов Гиннеса как единственного православного артиста, сыгравшего концерты во всех синагогах мира.

По Америке мы шастали очень много. Сначала ездили с шутками: «Добрый вечер, здравствуйте!» Потом, когда «железный занавес» постепенно ушел под колосники, тамошняя мишпуха обьяелась нашими шутками и прибаутками. Да и конкуренция... Помню, в Канаде жили в гостинице, где в вестибюле — вернисаж гострольных афиш. В одно время с нами там были Карцев, «Городок» с Ильей Олейниковым и Юрием Стояновым, Клара Новикова. В стороне от всех, с огромной глянцевой афиши на нас смотрело спокойное, вдумчивое лицо Саши Калягина в бабочке. И подпись: «Великий русский артист Калягин в чеховском спектакле...» А внизу, в уголке, прилеплена бу-

мажонка: «Билеты приобретаются в рыбном отделе русского гастронома у Симы».

Когда-то мы были с Державиным в Канаде, поднимали дух советских хоккеистов на открытом Кубке Канады. Гуляем мы по улице, навстречу едет старый-престарый «Шевроле» с откинутым верхом. Проезжает мимо, оттуда голос: «Ширвиндт, не морочьте себе голову, оставайтесь!» Сказано было так, будто мы с ним разговаривали об этом сутками.

Раньше у эмигрантов складывалось глобальное ощущение правильности своего поступка: или абсолютно снисходительное отношение к несчастным оставшимся, или такое сострадание: «Ширвиндт, не морочьте себе голову!» Сейчас, когда не знают, где лучше, мотаются туда-сюда: здесь — бизнес, а там — жилье, они утихли. Разговоры, жизнь, проблемы — все здешнее. Там — тело, все остальные органы чувств — здесь. Поэтому все время извиняться, что не уехал, уже не приходится.

Был такой известнейший чтец в Московской филармонии Эммануил Каминка. Он обладал компьютерной памятью и знал наизусть всю мировую литературу. Каминка являлся членом партбюро филармонии. Когда потянулся эмиграционный поток на Запад — а начался он с музыкантов, — в филармонии после каждого заявления об отъезде собиралось партбюро, клеймило вырождков, выгоняло из партии, если выродок в ней состоял, увольняло с должности, но процесс усиливался день ото дня. И вот однажды, когда разделались с очередным беглецом, Каминка сказал: «Дру-

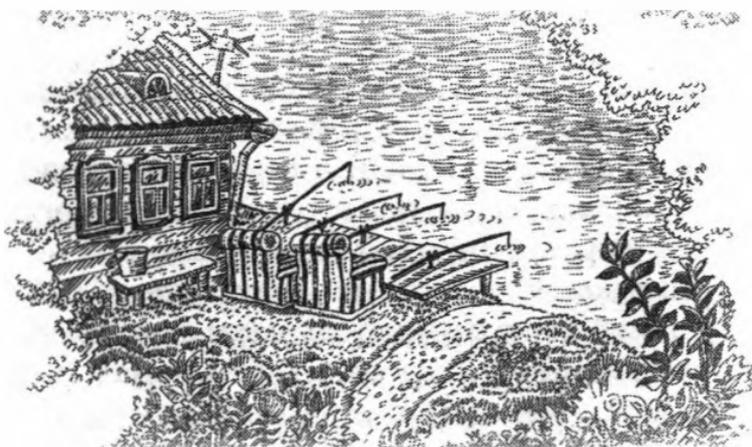
зья! Сейчас мы в узком кругу товарищей по партии, и я хочу, пока нет посторонних, спросить. Мы тут изгоняем отщепенцев, предавших Родину. А тех, кто остается, мы как-то поощрять будем?»

Наш дуэт с Державиным не узаконен, хотя нам однажды намекали на подозрительность взаимоотношений. Чтобы как-то зафиксировать наш союз, мы даже пытались создать партию «Шире, Держава», но не смогли ее официально застолбить из-за отсутствия четкой программы. У других партий, оказывается, она четкая.

Михал Михалыч вынужден оставаться замечательным актером. Никогда не мог Державин, как его ни просили и ни журили новомодные режиссеры, переступить черту органичного пребывания на подмостках...

Тщетная попытка не допускать к себе слишком близко отрицательные и даже трагические эмоции — отсюда профессиональный альтруизм... невозможность потянуть одеяло на себя. Одеяло на него тяну я и не жалею об этом.

*Счастье, что через мои прусские владения протекает речка Ширвинта, на берегу которой можно построить маленький дом рыбака в виде палатки, но уже с отоплением, положим спуском к воде и мягкими креслами на берегу.*



С возрастом мы все время преодолеваем разного рода пороки, и, когда, наконец, все преодолено, образуется огромное количество времени, которое нечем занять. Тут и выручает рыбалка. Раньше художественным руководителем этого действия всегда являлся Михал

Михалыч. Его отец, Михаил Степанович Державин, блестящий вахтанговский артист, был знатный рыбак и увлек сына сызмальства.

Стилистика рыбалки у нас — полюсная. Я с рассвета плюхаюсь в складной «стульчак» и тупо сижу вне зависимости от клева. Михал Михалыч мечется по побережью, меняя кусты на трясину, переоснащает наживки, пробует блеснить...

Вообще многие считали рыбалку смыслом существования. Корифеем и фанатом рыбалки был народный артист Советского Союза Николай Крючков. К старости он соглашался сниматься в фильмах в том случае, если рядом с натурой оказывался водоем.

Замечательным рыбаком был Гриша Горин. Сегодня существуют актерские соревнования на Озерне имени Горина.

Вячеслав Тихонов — отличный рыбак.

Удивительный поэт-песенник Леня Дербенев рыбачил зимой и летом. Ловил подо льдом, под айсбергами, в унитазах, когда ничего другого не было. Не мог жить без удочки. Однажды он и меня потащил на подледную рыбалку. Зимой, как известно, ловят на мотыля — такой маленький красненький червячок, которого и летом-то не надеть на крючок. Сейчас все оснащены, есть даже специальные резервуарчики с подогревом от батареек, а тогда, сорок лет назад, мотыля засовывали в презерватив и держали его за щекой!..

Ездили мы с Леной рыбачить и летом. Как-то отдыхали с ним и Державиным в Сортавале. Внизу — Ладога с судаками и щуками и

прилепившийся к скале Дом творчества композиторов. Со скалы мчится маленькая речушка, где мы всласть ловили небольшую форель. Но кто-то из местных подсказал, что если забраться высоко на гору, там есть скальные озера и можно поймать громадных черных окуней. Мы навьючились, как мулы: надувная красная лодка, рюкзаки со снаряжением, снасти, прикормка... Словно альпинисты, почти по отвесной скале стали карабкаться вверх. Когда, наконец, добрались до плато, нашему взору открылось красивейшее озеро. В предвкушении активного клева мы облачили в ярко-оранжевые непромокаемые костюмы, надули и спустили на воду лодку и забросили свои фирменные удочки. Адаптировавшись, заметили неподалеку висевшего вдоль скалы местного мужичка, одетого в валенки и ватник. Он, как обезьяна, одной рукой держался за корень наклонившегося дерева, а в другой зажал самодельное удилище и пытался поймать рыбу.

Прошел час, второй, третий — ничего, ни поклевки. Ни у нас, ни у него. Как часто бывает в таких случаях, от злости перешли на «эсперанто». Леня кричит:

— Мужик! Чего ж тут рыба так х...во ловится?

Тот отвечает:

— Не то что х...во, а даже очень плохо!

В нашем театре — замечательные рыбаки: Володя Ушаков, Клеон Протасов и, конечно, таким был ушедший от нас Родион Александр-

ров. Породистый, дворянских кровей красавец, джентльмен. Уж если у нас кто-то и смахивал на артиста академического театра, то это он.

Холодным летом 1983 года охотничко-рыболовецкая бригада в составе Р. Александрова, М. Державина и вашего (ихнего) покорного слуги, воспользовавшись отпуском в театре, вырвалась в Костромскую область, на великую реку с целью укрепить то, что в простонародье называется здоровьем. Поселились в пансионате.

Великая река цвела из-за бесконечных шлюзов и ГРЭС и рыбы не давала. Бригада готова была впасть в отчаяние и начать подрывать то, что хотела укреплять, при помощи того, что можно выудить на суше. Но руководитель артели Родион Александров (браконьерская кличка Родя) не стал ждать милостей от природы, а стал их брать... Брезгливо взглянув на шведскую удочку с волжским червем на конце (удочки) в руках Мих. Мих. (в которого я как в рыбака камня не брошу), он пошел на кухню, при помощи обаяния украл три алюминиевые кастрюли, личным сверлом превратил их в помесь решета с дуршлагом, набил последние черствым хлебом (так как бригаде мучного нельзя, а рыбам можно), на леске (0,5) смонтировал три кольца с грузом, отдельно пустил леску (0,3) с веером крючков и велел Мих. Мих. и вашему (ихнему) покорному слуге ехать на ближайшую ферму. Там мы в туче слепней и комаров вгрызлись в родной край и добыли фирменных, упругих темно-коричневых червей.

Смахнув скупую мужскую слезу (это — аллегория: ни слез, ни мужчин под рукой не было), мы оттолкнули руководителя от берега. Буквально через 7—8 часов Родик вернулся с фарватера с 5 (пятью) лещами (1 кг 500 г, 800 г, 3 кг 300 г и два по 600 г — взвешено на державинском безмене и проверено).

Из багажника извлекли коптильню — не сегодняшнюю хромированную «пудреницу» с флакончиками и ежичками, а настоящую. Дело в том, что с «Мосфильма» был сперт операторский яуф. Это железный сундук для перевозки отснятой продукции. Внутри — ячейки, куда киношники вставляли круглые коробки с пленкой. Эти ячейки не доходили до крышки и на образовавшуюся плоскость помещалась решетка от холодильника «Саратов», которая ложилась туда тютельница в тютельку. На дно сундука стругалась ясеневая стружка, затем раскладывался дубовый костер, подбрасывалась хвоя, немного лиственницы для дымку, и через 17 минут на берегу великой реки уже стоял запах, который нельзя сформулировать словами.

Поскольку, к сожалению, в окрестных лесах, кроме помета неизвестных животных, никакой дичи не было, «винчестер» Родиона висел на стене и при всем уважении к Чехову так и не выстрелил.

Трудно в двух словах описать дымный от «Беломора» силуэт Родиона на фарватере и испуганные гудки кораблей, требующих дороги. Отдельной поэмы достоин эпизод, когда

нашла коса на камень и сухогруз «Керчь» не свернул, а Родион не уступил и вынужден был оттолкнуться веслом от наехавшего ржавого борта, чем геройски спас Мих. Мих. и вашего покорного слугу от голодной смерти.

Кто в нашем театре понятия не имел о рыбалке, так это Андрей Миронов.

Но на съемках фильма «Трое в лодке, не считая собаки», которые проходили на Немане, в районе города Тильзита, мы, пока шла подготовка, отправились рыбачить и позвали с собой Андрюшу. В фильме есть эпизод, когда на удочку попался огромный сом (естественно, муляж), и он тащит нашу лодку неведомо куда. Для этого нужны были водолазы. Мы дали Миронову удочку, предварительно кое о чем договорившись с водолазами. Мужики подкрались по дну и аккуратно подцепили Андрюшке на крючок окуня граммов на шестьсот... Боже, что было с Андреем! Восторженный, он носился среди группы, показывая каждому трепыхающуюся рыбу, и приговаривал: «Понимаете, это не они! Это я поймал! Я!»

В съемках, кстати, участвовали три собаки — три одинаковых фокстерьера. Один — просто убийца, сволочь, гад. Он все мог делать — он таранил лодку, танцевал, пел, улыбался, но к нему нельзя было подойти, потому что он откусывал сразу все, что попадалось. Другого можно было держать за ухо, за ногу, можно было ему откусить нос, но при этом он оказался полным кретином и только жрал и

лежал там, где его положат. А третий был чем-то средним. И вот они втроем играли эту одну «не считая собаки».

...Редко удается очутиться на рыбалке в безлюдном месте. Так называемая частная жизнь в нашей актерской профессии вообще существовать не может, если актерское лицо примелькалось в народе. Спрятаться некуда, потому что народ у нас везде и его много.

В одна тысяча девятьсот... году мы с моим другом и партнером выкроили несколько долгожданных летних дней и на моем частном автомобиле «Победа» (выпускался когда-то такой маленький БТР для семейных нужд) двинулись по наводке под город Вышний Волочек на никому не известные Голубые озера, чтобы порыбачить и отключиться от общественной жизни. Наводчики гарантировали глушь и уединение. Пробиваясь двое суток через овраги, ручьи и дебри, мы неожиданно вырвались к озеру и, даже не разобравшись, голубое оно или нет, раскинули палатку, окунулись, и я, как самый ленивый в дуэте, плюхнулся на траву, а Державин, как самый рыбак, тут же голый по что-то пошел в воду и закинул удочку. Тишь, глушь, одиночество и счастье!

— О, господи, ....., благодать-то какая! — вырвалось у меня.

На эту реплику из-за мысочка выплыла лодка, в которой сидела дама в раздельном сиреневом купальнике, а к веслам был прикован

плотный мужчина в «майке» из незагорелого тела.

— Коль! — нежно сказала дама. — Смотри: голый — это Державин, а матерится — Ширвиндт.

И уплыли...

Оказалось, за мысочком располагался Дом отдыха среднего машиностроения и от Вышнего Волочка по шоссе до него добираться минут сорок.

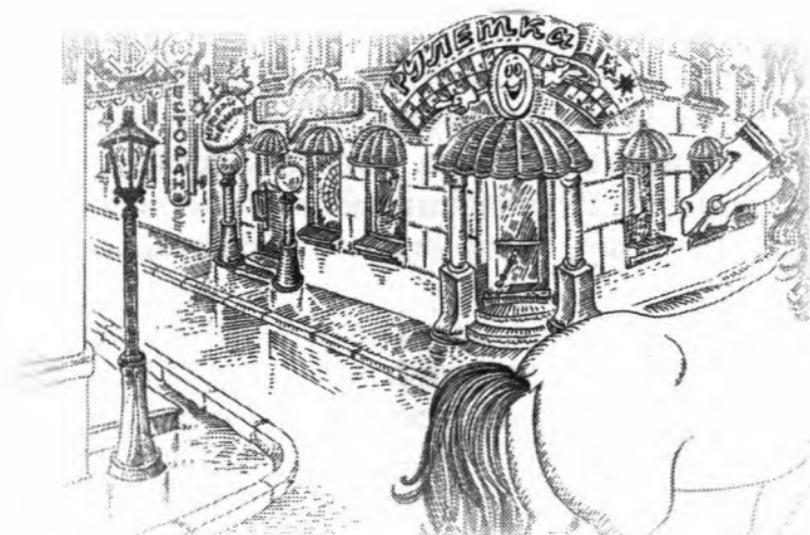
К сожалению, ушли многие друзья. Их рыболовное «богатство» перешло ко мне по наследству. Кроме того, возвращаясь из каждой зарубежной поездки, я обязательно привожу что-то новенькое. Казалось бы, покупая очередную спиннинговую катушку, четко осознаю, что дома лежат еще штук двадцать. Но удержаться невозможно: ностальгическое ощущение дефицита, когда поплавки делали из шампанских пробок, а четырехсекционные бамбуковые удилища были верхом пижонского благополучия.

Помню, тыщу лет назад летели мы впервые в Канаду, и наш самолет посадили ночью на дозаправку в Шенноне. Мы вышли в полутемный зал аэропорта и увидели огромный супермаркет, в котором все было и никого не было. Мы, как в Эрмитаже, стали по нему прогуливаться — денег-то ни у кого нет, — и вдруг я увидел огромную корзину, в которой лежала голубая леска — 0,8. Что делать? Оставалось только одно — украсть! Полтора часа я кружил

около этой корзины с леской, брал ее, клал обратно. Страшно же: первый раз выехать за границу и быть арестованным прямо в аэропорту дозаправки. Когда объявили посадку и все табуном пошли в самолет, я зажмурился и положил леску в карман. Мокрый, зашел в салон, все ждал — сейчас задержат. Но ничего. До сих пор эта леска у меня лежит — мы же на акул не охотимся. Иногда супруга отматывает от нее метра два и сушит мои трусы на даче...

*Долго мучился вопросом о строительстве в городе Ширвиндте значных мест — казино и ипподрома.*

*Так как к азартным играм меня подпускать нельзя, то я вынужден посещать заведения, где нет тотализатора.*



### **1-й ПОРОЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК**

Лет пятнадцать тому назад мы были на гастролях в Атлантик-Сити с театром Чехова. Там в каждом казино свой огромный концертный зал. У меня сохранилась афиша, где написано: «12 июля — Лайза Миннелли; 20 июля — «Че-

ствование», в ролях: Александр Ширвиндт... 25 июля — Майкл Джексон». Жили мы тут же, в отеле при казино. А кругом — автоматы, и рулетки, и покер, и блэк-джек.. Но я решил взять себя в руки и искушению не поддаваться: мол, приехал сюда работать и зарабатывать. И все бы ничего, но нам выдали талоны на питание в столовку для крупье. Идти туда нужно было через игровые залы, а вокруг все сияет, манит... Короче, были мы там пять дней, сыграли три спектакля, за каждый из которых мне заплатили по тысяче долларов. А домой я приехал из этого Атлантик-Сити, задолжав три тысячи, то есть проиграв весь свой гонорар плюс еще столько же. Поэтому сейчас, если кто-то из близких видит меня около подобного заведения, сразу вяжет и уводит в другую сторону.

В начале 60-х, когда я только-только учился гибнуть на бегах, мой доверчивый и интеллигентный папа попросился со мной на ипподром, чтобы вникнуть в суть этой пагубной страсти.

На бегах тогда существовали ростовщики. Был знаменитый сеньор Помидор — с красным лицом. Он круглые сутки торчал на бегах — ходил с авоськой, в которой лежали бутылка кефира и бутерброд.

В чем смысл гибели на бегах? Я проигрываю, проигрываю, проигрываю, а в 13-м заезде бежит лошадь — и я «точно» знаю, что она придет. А денег уже нет. И тогда — к сеньору Помидору: 3 — 5, 5 — 8, 8 — 12. Трешку берешь — пятерку отдаешь и так далее. Посколь-

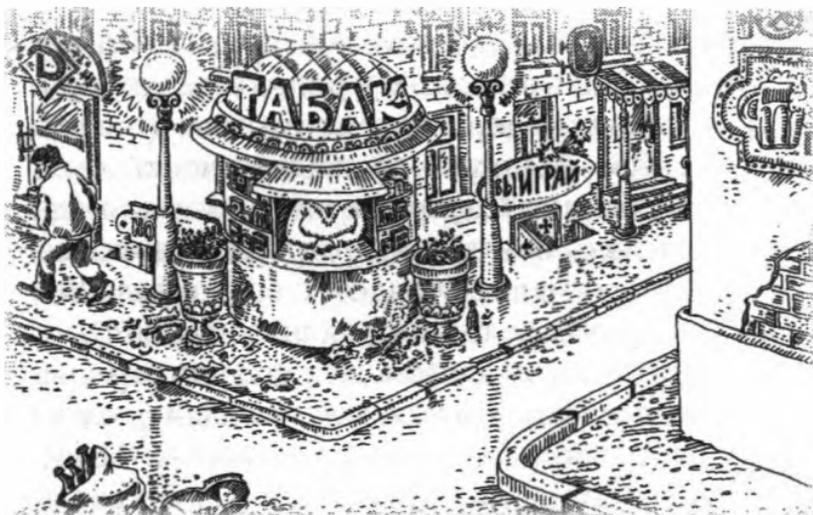
ку тогда это преследовалось, Помидор чужим не давал — а завсегдадатаев он знал наизусть.

Я все спустил, у папы денег нет. А Помидору я был должен и подойти к нему не могу. По-сылаю папу. И папа своей наивностью произвел такое титаническое впечатление на Помидора, что он ему дал денег.

Папина обескураживающая мягкость и интеллигентность нередко ставила в тупик существования как его самого, так и людей, с которыми приходилось общаться. Помню трагикомический случай, произошедший, когда мы жили под Звенигородом у родительских друзей — физика-ядерщика Алиханова и скрипачки Славы Рошаль — в академическом поселке Мозжинка. Однажды папе срочно надо было выехать в Москву, и он, проголосовав, сел в черную машину рядом с водителем. Все 60 километров бедный папа высчитывал, кто его везет — сам академик или его шофер. Эти муки кончились у Киевского вокзала, когда папа, набравшись храбрости, спросил: «Извините, ради бога, в какой форме я мог бы выразить вам свою благодарность?» На что не то академик, не то водила ответил: «С тех пор, как изобрели деньги, ваш вопрос звучит риторически».

...При помощи второго тестя Державина — Буденного — я был пущен на правительственную трибуну ипподрома — как партнер родственника Буденного. Потом, когда Михал Михалыч с Буденным развелся, меня опять вышвырнули вниз.

*Вообще в своем городе не хотелось бы возводить  
старые пагубные привычки.  
На сегодня из пагубных привычек осталась одна —  
курение.*



## 2-й ПОРОЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК

Я поздно задымил, уже в институте. Сначала курил папиросы — «Беломорканал». Потом у нас произошла оранжевая революция, и мы перешли на сигареты «Дукат» в оранжевых пачечках, по 10 штук в каждой. Начинали с сига-

рет, потому что трубку тогда курил один человек в стране — Сталин.

Трубкой меня заразил значительно позже мой друг, замечательный оператор-международник, к несчастью, уже покойный, Вилли Горемыкин. Он ездил на съемки за границу со всеми вождями и генсеками — входил в команду хроникеров программы «Время» и всегда привозил «оттуда» что-нибудь, а мы, как птенцы, ждали с открытыми клювами — кому джинсики перепадут, кому грампластинка...

Но первым приобщил нас к трубке Виктор Суходрев. Витя работал на переговорах со всеми — начиная, кажется, с Линкольна и Вашингтона и заканчивая Рузвельтом и Черчиллем. Он гениальный переводчик — смог, например, перевести хрущевскую «кузькину мать» на язык Шекспира. Когда он возвращался с очередной встречи за рубежом, мы ехали на дачу, гуляли, естественно, пили. И устраивали традиционную игру: кто первый по-пластунски доползет от одного конца забора до другого. Четыре часа утра. Ползем втроем, задыхаясь, между лягушек. Берем тайм-аут в середине пути и спрашиваем Витю: «Ну, расскажи — здесь никого нет». И он говорил: «Только никому, сугубо между нами, не проболтайтесь». Мы клялись молчать, и он выбалтывал политические тайны. Утром слово в слово эти тайны были в газете — великий профессионал.

Витя тогда жил в Каретном ряду. У него собирался элитный «трубочный салон» — такой внутренний клуб середины шестидесятых.

Тех, кто курил трубки, можно было по пальцам пересчитать. Среди них — иностранные корреспонденты и наши, но с именами Луи и Люсьен. На столе стояли диковинные по тем временам виски, орешки... Лежали иностранные журналы — «Плейбой», например. Виктор привозил их свободно, потому что летел с Хрущевым и его не «трясли». У любого другого приземление с такой прессой могло стать последним.

В наш «салон» приезжал из Ленинграда известный трубочный мастер Киселев и устраивал показ новых работ. Он открывал невероятных размеров бархатный чемоданчик, напоминающий готовальню чертежника. А там, в ячейках, подобно циркулям и рейсфедерам, лежали трубки. Мы общались и походя разглядывали работы Киселева. По тем временам трубки стоили недешево, в среднем рублей семьдесят — при зарплате в девяносто это впечатляло.

Если трубки, которые привозил мастер, не подходили, можно было набросать эскиз и попросить сделать на заказ. Ведь даже архидорогая трубка могла не быть тебе к лицу и не садиться на прикус.

У меня есть несколько трубок Киселева, а также другого уникального мастера — Алексея Федорова.

У Вити Суходрева тоже были трубки Федорова, и с этим связана одна историческая байка. Как-то в начале 70-х в СССР приехал Гарольд Вильсон, в тот момент, кажется, премьер-министр Великобритании. Этакий совершенней-

ший лорд вдруг впервые оказался в стране, где, по его, очевидно, разумению, по улицам должны ходить медведи, а глава государства должен сидеть в Кремле в лаптях и косоворотке. Но вместо медведя Вильсону повстречался Суходрев — элегантный, красивый, похожий на молодого Алена Делона и одетый получше британца. А когда Витя заговорил на английском, Вильсон вообще онемел. Он же не знал, что Витька в детстве долго жил в Англии и не просто владеет языком, а различает все диалекты и наречия — на слух определяет, из какой части Великобритании родом тот или иной человек.

У британца во рту торчала трубка. И у Витьки трубка — федоровская.

Вильсон, пообщавшись с Суходревым, оценил его профессионализм и перед отъездом сказал: «Потрясен вами, сэр. Позвольте сделать подарок в знак уважения и признательности». И протянул трубку. Витя взял. В трубочном мире считается высшим шиком обменяться трубками — рот в рот. У Вильсона была жутко крутая Dunhill — номерная трубка, а взамен он получил неизвестно что. Вильсон Витькин подарок передал помощникам, и те забросили его в кейс. Словом, английская делегация улетела домой, и жизнь потекла своим чередом. И вдруг недели через две здание МИДа на Смоленской площади затрясло, как при землетрясении, все заходило ходуном: Суходрева срочно разыскивает Вильсон! Почему? Зачем? Витьку вызвал на ковер тогдашний министр Громыко и строго потребовал доложить, что

случилось. Суходрев недоумевал. Оказалось, Вильсон из интереса все-таки покурил федоровскую трубку и до того обалдел, что бросился звонить в Москву.

У меня могло бы сохраниться больше федоровских трубок, если бы не художник Куксо. Он профессионал-вымогатель, знает про трубки все и у кого — какие. Придет в гости и начинает нудить: «Зачем тебе эта труба? У тебя прикус другой. Она тебе не идет. Ой, да тут каверна!.. Как ты такую гадость можешь держать во рту?! Отдай мне, а я подарю тебе цельную». В конце концов забалтывает, забываешься на секунду и, когда приходишь в себя, видишь в руке какой-то обмылок, от Куксо доставшийся. А он, счастливый, уже убегает, унося добычу. Я эту схему иногда проверяю на Говорухине, но я его люблю и не злоупотребляю методом.

Из живых классиков остались Куксо да Юрка Рост. Витя Суходрев сейчас мало курит. Остальные поумирали. На смену великим приходят нувориши. Они только учатся держать трубку во рту — смотреть неаппетитно.

Раньше, когда настоящих курильщиков было больше, а трубок меньше, за хорошую трубу жизнь отдавали. Сейчас трубок у меня много, но это не коллекция, а свалка — навалено в кучу. Когда в доме делают уборку и выметают пепел из всех углов, постоянно норовят прихватить веником парочку трубок и отправить их под шумок в мусорное ведро. В принципе, могу ничего не заметить — учет моих трубок никто не ведет.

Думаю, штук сто у меня есть. Почти все в деле. Я их курю, они теряются, падают, ломаются. Многие друзья с возрастом бросают курить, их трубки переходят ко мне. Когда умер Гриша Горин, его жена Люба отдала мне шесть трубок. Одну из Гришиных я подарил Янковскому, другую передал Росту.

У меня никогда не было проблемы, что привезти друзьям-курильщикам в подарок из-за рубежа. Конечно, табак. Ведь в нашей стране мы курили жмых, настоящий табак являлся редкостью. Сейчас в любой подворотне 150 марок табака, а тогда из всего богатства сортов доступны были лишь три: «Золотое руно» создавалось в Москве, а «Трубка мира» и «Капитанский» имели хождение в Ленинграде. Друзья привозили нам табачок из Питера, а мы взамен слали им свой.

Лист, строго говоря, был хороший, но его закладывали в фольгу, запечатывали, и получалась фанера. Нынешние-то табаки, может, даже похуже, лист хреннее, но теперь используют всякие хитроумные присадки, поддержку. Словом, настоящее производство. А нам приходилось работать кустарно. Но самое любопытное — умудрялись делать табак, отдаленно напоминающий фирменный.

Рецепт был прост. Покупалась китайская рубашка «Дружба» — единственный товар, который продавался в целлофановых пакетах. Сейчас пакеты разбросаны повсюду, а тогда мало кто знал, что это такое. Рубашка выбра-

сывалась, в пакет насыпался смешанный табак — все три наименования. Потом туда добавляли несколько долек яблока или картошки, размоченный чернослив, 15—20 капель коньяку. Смесь вывешивалась между рамами на солнце и прела. После чего этот «салат» смахивал на нормальный табак.

Но одно дело — что курить, другое дело — как. Трубка — вещь серьезная. Например, нельзя ее чистить сразу после того, как покурил, нельзя сразу же снова раскуривать. Она должна подышать, отлежаться. Вот когда-то продавались женские трусы «Неделька»: семь штук, на каждый день недели. Сегодня одни носишь, завтра другие, потом третьи, чтобы ежедневно постирушкой не заниматься. Если даже трусам дают выдохнуться, то как трубку этого лишать? Поэтому у нормального курильщика должно быть как минимум семь трубок. Со мной всегда несколько штук. Четыре самые-самые сперли вместе с автомобилем. Не так жалко машину, как жалко старых, проверенных удочек, кое-каких рыбацких снастей и любимых трубок.

С трубкой я везде. Бывали случаи, когда насыпал на рыбалке, сидя с удочкой, и топил трубки. Поэтому Державин придумал мне приспособление и сам его смастерил — из лески и скрепки. Это самодельное устройство не давало падать дорогим трубкам в воду. А сейчас у меня и фирменная штука появилась — шикарный ошейник на случай непредвиденного засыпания. Я сплю, и трубка спит у меня на пузе.

Сигареты я практически не курю. Только когда трубки нет под рукой или когда снимаюсь в фильме. Правда, сначала я спрашиваю кинорежиссеров, может ли мой герой быть с трубкой. Так, по ходу съемок фильма «Трое в лодке, не считая собаки» решили, что мой персонаж курит трубку. Кстати, и героиня Аллы Покровской также закурила дамскую трубку, дабы соответствовать возлюбленному, то есть мне.

Кроме трубки, я курю еще сигары. И однажды в связи с этим меня даже приняли в Италии за миллионера.

В 70-е годы мы приятельствовали с Мариолиной, женой главного архитектора Венеции. Так он официально формулировался. На самом деле, по-моему, был венецианским олигархом. Элегантный, миниатюрный, напоминал дирижера Вилли Феррера и трубача Эдди Рознера. Мариолина, очевидно, от тупика миллионерства училась в нашем ГИТИСе на театроведческом факультете и почему-то была специалистом по Лескову.

Андрей Миронов за ней немного ухаживал, за что много раз предупреждался.

Наш театр отправился на гастроли в Италию — затея была безумная, но в 70-е годы в Италии нашлась прокоммунистическая провинция Реджо-Эмилия, сенатор которой, коммунист (миллиардер, естественно, но коммунист), решил, что проблема обюрокрачивания пролетариата — дико актуальная для Италии. И вот в эту Реджо-Эмилию он на свои

деньги вывез Театр сатиры со спектаклем «Клоп». Острота проблемы «Клопа» оказалась преувеличенной, но не будем о грустном. Когда мы в Венеции играли этот спектакль, Мариолина пригласила весь коллектив к себе домой.

Сопровождающая артистов тройка проверила студенческий билет Мариолины и решила, что можно сходить на прием перекусить. Венеция была одним из последних гастрольных городов, и плавленые сырки со свиной тушенкой в чемоданах кончались. Перед походом всем напомнили: на еду сразу не набрасываться, не воровать и вести себя по возможности интеллигентно. С собой взять сувениры.

Сувениры были идентичные: ложки, матрешки, жостовские подносики, шкатулки. У всех. Кроме меня. Потому что я хитрый и умный был всегда — перед заграничной поездкой я заходил в любой продуктовый магазин Москвы и в рыбном отделе покупал кубинские сигары «Першинг». Это был длинный деревянный пенал, внутри которого в фольге лежала, как ракета, сигара. Она стоила у нас 1 рубль 70 копеек. А там, особенно в Америке, где это была контрабанда с Кубы, ее продавали за 15 долларов — по тем временам неслыханные деньги. И я перед поездкой в Италию накопил этих «Першингов» и еще «Ромео и Джульетту» — огромные деревянные ящики с сигарами, которые у нас стоили 12 рублей 60 копеек, а за границей к ним вообще нельзя было подступиться.

И вот мы пришли на прием. Дом в шесть этажей возвышался над Большим каналом. Внизу был «гараж», в котором держали все — от шлюпки до подводной лодки.

На втором этаже стоял архитектор в белом смокинге, за ним чуть ли не в латах — какие-то рыцари, а по лестнице, по ковровой дорожке, перся наш обшарпанный коллектив (обшарпанный — в буквальном смысле, потому что актеры, боясь отступить от стадности, покупали, как все, — только кассетник «Шарп», хотя там продавались любые). Гости протягивали архитектору ложку — матрешку, матрешку — ложку. Архитектор хватал подарки и со словами «грация», «белиссимо» швырял их в какой-то предбанничек. А тут я — с «Першингом» и «Ромео и Джульеттой». Когда я это ему протянул, он взял меня под руку и повел в хоромы. Прием продолжался часа три — он от меня не отцепился ни на секунду, видимо, решив, что я либо такой же крутой, как и он, либо городской сумасшедший.

Жратвы, кстати, никакой не получилось: были любые напитки, и посреди стола стоял огромный айсберг сыра, утыканный «бандерильями». Голодный коллектив лакал вино и виски, отщипывая от этого айсберга кусочки. Хозяева перебрали с аристократизмом, а коллектив надрался...

Дома сигары мне курить не позволяют — запах больно ядреный. Моя бесценная супруга смирилась с трубкой, но не с сигарой. Чуть

учуяв запах, она тут же вышвыривает меня на улицу. Отвожу душу в театре — курю сигары на сцене.

Мои студенты — ученики во всем, в том числе и в курении трубки. Один так увлекся работой над образом в спектакле «Опасный поворот» по Пристли, что брал у меня специальные уроки курения. Я дал ему пару трубок для репетиций, он привык, и пришлось ему их подарить.

Как-то один журналист спросил меня: чего нельзя делать с трубкой в зубах? Я ответил, что, по-моему, можно все — во всяком случае, мне удавалось.

*Весь этот экскурс в историю моей никотиновой зависимости я провел исключительно для рекламы экспозиции в символическом музее моего не менее символического города.*



## **МУЗЕЙ ИМЕНИ МЕНЯ**

Дело в том, что много лет назад, будучи на гастролях в Томске, при жуткой жаре, духоте и комарах, мне посчастливилось открыть талант — чем горжусь. В силу слабой воли я под-

дался яростному напору со стороны милого взлохмаченного артиста томского ТюЗа, был погружен им в разваливавшийся «Москвич» и через тех же комаров доставлен в томские новостройки, где в однокомнатной квартирке хрущевской блочной барачности лежала грустная овчарка и охраняла дровяной склад. Больше в квартире ничего не было. Из этих дров артист ТюЗа делал скульптуры.

Прошло много лет. Леонтий Усов — замечательный художник — выставляется во всем мире, но, к удивлению, помнит «крестного отца» (то есть меня), который когда-то убедил подругу — Эскину — и она устроила первую выставку Усова в Доме актера.

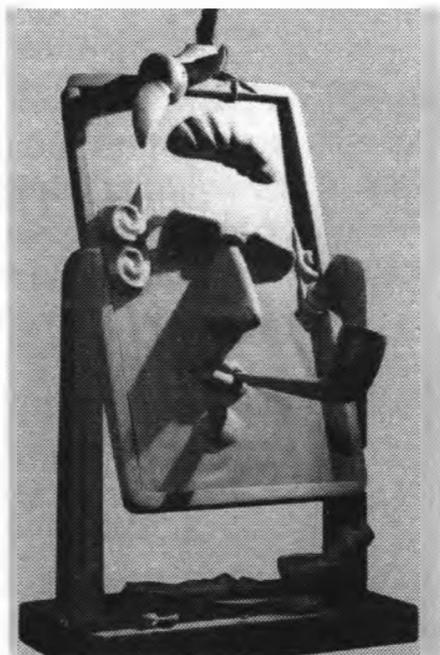
Он присылает мне каталоги своих работ, привозит очень хороший бальзам, хотя сам уже много лет не пьет, но знает о процессе не понаслышке, очень любит со мной фотографироваться в обнимку. Трогательно, что я Усову никогда не позировал — он стругает меня по памяти — произведения дарит, денег не берет, хотя древесина нынче дорогая.

Как личность я Леонтия вдохновляю недостаточно, но как приложение к трубке прохожу.

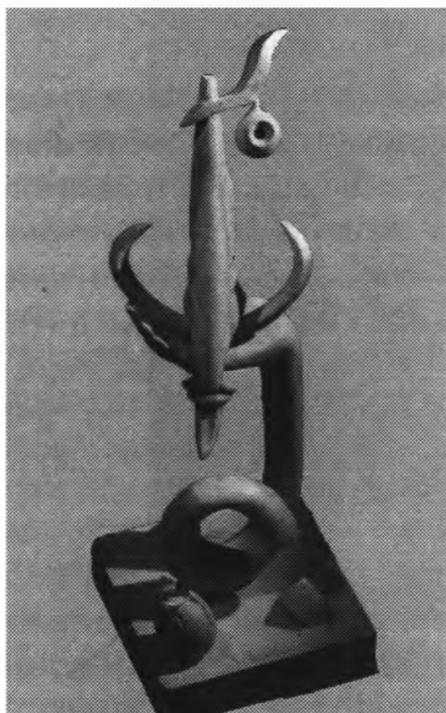
Предлагаю экспозицию из кедров с подписями скульптора. Нормальные люди мечтают быть увековечены в мраморе, в бронзе, в граните, на худой конец, в гипсе. Я буду — в кедре.



Опершись на спинку стула и раскурив трубку,  
Александр Анатольевич Ширвиндт размышляет  
о бренности бытия



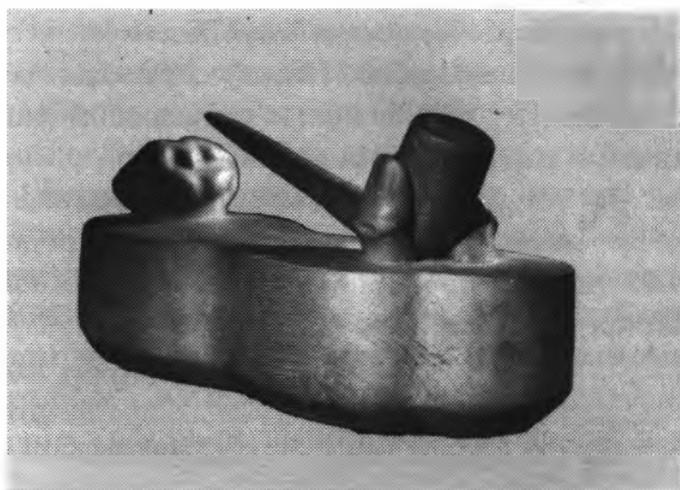
Трубка, мешающая бритью



Хитроумный идальго  
Дон Кихот,  
наблюдающий  
за рождением  
Сальвадора Дали, —  
на фоне трубки  
Александра  
Ширвиндта



Актер после  
спектакля с трубкой  
Ширвиндта — сзади



Трубка Ширвиндта с двумя пальцами  
и чьими-то губами

В музее обязательно должен быть стенд «Домыслы и опровержения».

Сколько невероятных слухов, сколько «кисленькой информации», сколько якобы подсмотренных скрытой камерой альковно-амурных сплетен витает сегодня над биографиями известностей. Опровергать стыдно, доказывать бесполезно.

Только документы (*выделено мною*):

«Советская Эстония», 11.08.85.

#### ШИРВИНТА СДАЛА ЭКЗАМЕН

Высокоурожайный сорт озимой пшеницы ширвинта выведен учеными Прибалтийского селекционного центра в Дотнуже Кедайнского района.

Главное преимущество этой новинки — устойчивость к полеганию. Новый сорт сдал экзамен на пятерку на обширных производственных участках в ряде хозяйств различных зон республики. За четыре года испытаний ширвинта ни разу не полегла и дала с гектара в среднем 65—67 центнеров — на 10 центнеров больше своих предшественников.

Корр. ТАСС.  
Дотнува,  
Литовская ССР.

Еще одна публикация — из газеты «Московский комсомолец» за 2004 год:

### ПОКЛОННИЦА АЛЕКСАНДРА ШИРВИНДТА ИЩЕТ ЛЮБОВЬ В СУДЕ

Весьма экстравагантным способом добивается любви популярного артиста, руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта одна из его поклонниц. Женщина пытается принудить знаменитого актера к сожительству через суд! Впрочем, вместо своего кумира предпринимчивая дамочка согласна получить деньги. Она утверждает, что Ширвиндт и так живет с ней, но только "посредством технических средств". В этой белберде предстоит разбираться Тверскому суду столицы.

## В НОМЕР

Весьма экстравагантным способом добивается любви популярного артиста, руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта одна из его поклонниц. Женщина пытается принудить знаменитого актера к сожительству через суд! Впрочем, вместо своего кумира предпринимчивая дамочка согласна получить деньги. Она утверждает, что Ширвиндт и так живет с ней, но только "посредством технических средств". В этой белберде предстоит разбираться Тверскому суду столицы.



**ПОКЛОННИЦА  
АЛЕКСАНДРА  
ШИРВИНДТА  
ИЩЕТ ЛЮБОВЬ** **В СУДЕ**

его поклонниц. Женщина пытается принудить знаменитого актера к сожительству через суд! Впрочем, вместо своего кумира предприимчивая дамочка согласна получить деньги. Она утверждает, что Ширвиндт и так живет с ней, только «посредством технических средств». В этой белиберде предстоит разобраться Тверскому суду столицы.

Как сообщили «МК» в суде, в иске к Театру сатиры москвичка настаивает, чтобы Александр Ширвиндт жил с ней вместе либо заплатил выкуп. Беспардонное вымогательство любви и денег у известного актера женщина считает вполне справедливым. Безумная поклонница уверяет, что знакома с Ширвиндтом много лет. Якобы артист приходит к ней в квартиру, чинит электроприборы, забивает гвозди и даже оставляет деньги, но только когда ее нет дома. Такую любовь женщина и называет сожительством «посредством технических средств». В общем, дамочка «мирилась» с таким поведением своего кумира, но теперь терпение ее лопнуло. Она желает получить либо мужчину, либо его деньги. И требует, чтобы суд помог ей в этом. Несмотря на явную бредовость иска, служителям Фемиды все же придется рассматривать его.

В процессе чтения этой публикации в семье назревал мощный скандал, но когда семья дошла до описания моих работ в качестве электрика — накал страстей поутих.

Сейчас все выходят в Интернет (я бы тоже вышел, но не умею). Кому ни позвонишь: «Перезвоните, он сидит в Интернете». Тон —

извиняющийся, будто сказали, что он сидит в клозете.

С этим Интернетом тоже надо быть осторожным. Вот что мне оттуда достали:

Актер  
**Ширвиндт Александр**

Дата рождения 07/19/34

Александр Анатольевич Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Щукинское театральное училище. Дебют в кино — в фильме «Она вас любит». Сыграл множество великолепных комедийных ролей как на сцене Театра сатиры, так и в кино. Пожалуй, одна из наиболее удачных киноработ Ширвиндта — роль Ипполита в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром»...

Еще бы не удачная, когда ее играл Юрий Яковлев!

Для удовлетворения низменного тщеславия в музее должна быть подборка писем.

Письма хочется сохранить хронологически точно и дифференцировать их по жанрам и тематике. Ничего в них не надо дописывать и дошучивать, а то можно будет предположить, что их коснулась рука любимых мною Сени Альтова или Миши Мишина. Но, думаю, такого наива им уже не потянуть.

В общем, письма — документально-реальные.

*«Дорогой Заслуженный Артист А. Ширвиндт!*

*Прошу извинить нас за наше беспокойство. Пишут к Вам и обращаются с просьбой две подружки — Люда и Валя. Мы давно мечтаем вступить с Вами в письменную связь, но очень стеснялись! Один раз мы посмотрели в нашем клубе к-ф «Атаман Кодр», в котором Вы исполняли роль молдавского военного Василия Богдескула. Мы не побоимся даже сказать, что к-ф нам слишком понравился. С той знаменательной даты мы всюду ищем Вашу фамилию в кино и в передачах по телевизору. Мы с подружкой Валею смотрели помногу раз все к-ф и передачи, где Вы выступаете: «Приходите завтра», где Вы играли образ Вадима, «Еще раз про любовь», где Вы создали замечательный образ Феликса, «Ирония судьбы», где много песен и юмора, и т.д. Лучшее всего нам понравилась передача по телевизору «Свадьба Фигаро», где Вы были очень красивый и замечательно исполняли роль графа. Вы необыкновенный артист! Глядя на Вас, нам не хочется, чтобы кончались годы нашей только начинающейся юности!*

*Дорогой артист А. Ширвиндт! Мы с подружкой Валею живем в Костромской обл., окончили профтехучилище и в настоящее время работаем и мечтаем учиться и дальше. В настоящее время мы находимся в г. Москве, где остановились у Валиной тети в отпуске. Мы приходили к Театру «сатиры» 4 раза и смотрели*

рели на все Ваши фото в разных ролях, повешенных на доме.

У нас есть Ваша вырезка. Это когда вы разговаривали в дружеской беседе с артистом А. Мироновым в «Литературной газете» 24 сентября 1975 года. Мы с подругой Валею ее часто читаем. Наша самая заветная мечта увидеть Вас живым! Но мы никогда не видели! У нас к Вам очень большая, а, возможно, и дерзкая просьба. Помогите нам достать билет на Вас! Мы понимаем, что у Вас нет на это свободного времени. Один человек нам сказал, что артистам приходится запоминать роли наизусть. Правда ли это? Мы еще раз извиняемся за наше беспокойство. По Вашим глазам — «зеркалу души» — мы считаем Вас очень добрым и очень отзывчивым человеком с большой буквы и надеемся на эти ваши чувства!

Мы придумали сделать так: Вы, может быть, можете, если Вам нетрудно, оставить билет в окошке, где касса, в конверте, который мы высылаем. А мы придем с деньгами 10 апреля с утра и можем прийти еще. Только мы уезжаем с 30 числа. Очень умоляем Вас об этом! Как пишут в стихах: «Дорога в жизни одна, Ведет лишь к смерти она». И мы не знаем, когда еще приедем в г. Москву!

Мы Вас очень-очень просим. Мы никогда никого ни о чем не просили!!! Это первый и последний раз!!! Будем с большим нетерпением надеяться!!!

*О своей жизни и своем впечатлении от Вас мы опишем в следующем письме.*

*До свидания.*

*С большим комсомольским приветом к Вам —*

*Люда и Валя  
6 апреля 1978 года».*

*«Здравствуйте, уважаемый Александр Ширвиндт!*

*Меня зовут Сергей. Мой дед, председатель колхоза «Третья пятилетка», достал билеты на «Маленькие комедии большого дома». Мне очень понравилось Ваше выступление. Вы говорили про Сергея, как про меня. Я много понял. Я теперь не «равносторонний треугольник». У меня действительно, как Вы сказали, были все тройки, но теперь — Вы, наверное, не поверите — у меня осталось только четыре тройки — по алгебре, химии, русскому и английскому языку. Спасибо Вам большое за то, что благодаря Вам я многое понял и вообще, хотя я в 8-м классе, но пьеса, особенно Вы, говорили про меня и про многих из нашего класса. Когда закончу школу, хочу стать артистом, как Вы.*

*Очень прошу ответить на мое письмо. Как Вы стали артистом? Что Вы мне посоветуете? Мама не хочет, чтобы я был артистом, но я знаю, что у меня получится.*

*Очень жду ответа.*

*Сергей, Москва».*

*«Здравствуйте, Александр!»*

*Прошу извинить меня, но я не знаю Вашего отчества. И еще: прошу, представьте, что Вам пишет не девушка, а просто человек. Вы ведь артист, Вам это, по-моему, представить просто.*

*Знаете, почему я так хочу? Находятся еще девушки, которые пишут артистам, мужчинам всякую чепуху. Но им можно простить — они молоды и глупы. Я пишу Вам без какой-либо корысти.*

*Сначала — о Вас. Вы верите в любовь с первого взгляда? Только помните наш уговор (я — не девушка). Любовь не простую, земную, а любовь к таланту. Сейчас я посмотрела по телевизору «Бенефис» Л. Голубкиной с Вашим участием и подумала: «Да он и интересный человек!»*

*Вот тут я должна сказать немного о себе. Вы знаете, я очень жалею, что родилась женщиной (вообще-то это не ново!). Меня всегда тянет к мужчинам, но, во-первых, не ко всем, а к интересным, умным, а во-вторых, не с теми чувствами, которые свойственны женщине, а с чувством узнать что-то интересное от них.*

*Но вернемся к Вам. Мне захотелось с Вами поговорить. Нет, не поплакаться в жилетку, а поговорить, посоветоваться.*

*Я убедилась в том, что Вы очень серьезный актер и человек. Когда я смотрела эпизод, где Вы говорите: «Боже мой! Что это сегодня*

*творится? Мама?!» — я просто чуть не визжала от восторга. Я просто пожирала Вас на экране глазами. Ловила каждый жест, каждый взгляд. Иногда казалось, что я играю вместе с Вами... Но вот последняя сцена. Этот взгляд при словах о том, что «смогу ли я жить без вас» (извините, не помню дословно). Эта сцена полностью драматическая.*

*Не знаю, может, Вы и играете серьезные роли (я Вас ведь не видела), но мне кажется, что Вы больше драматический актер, чем комедийный.*

*Какое-то у меня нескладное письмо получилось. Вы, наверное, не поймете меня. Я не буду переписывать письмо на чистовой, потому что могу передумать посылать Вам его. А послать надо.*

*Теперь, когда Вы прочитали письмо, судите сами: или не обратить на него внимания, или обратить. Я буду считать за счастье, если Вы хоть чем-нибудь (пусть просто открыткой) дадите знать, что получили мое письмо.*

*Суважением,*

*Лидия.*

*26 сентября 1975 года».*

Самоирония самоиронией, но все-таки хочется поместить в музей что-либо искренне-пародийно-интеллигентно-грамотное. Пока мой друг Михаил Швыдкой оставался очень большим начальником, публиковать его послание было опасно. Могли заподозрить,

что я использую его высокое положение в своих рекламно-корыстных целях. Но теперь, когда он начальник пожиже, а друг такой же, уже можно поместить его спич в отдел писем.

«ТОСТ ЗА СТАРОГО ДРУГА.

Дорогой Шура!

Глубокоуважаемый  
Александр Анатольевич!

Поднимая свою рюмку, чтобы выпить за твое здоровье, как положено в мгновения всякого юбилея, а тем более 70-летия, вовсе не боюсь пафоса, подобающего случаю. Несмотря на то, что мы любим с тобой одну и ту же закуску времен советского средневековья, а именно кильки в томате, сайру и баклажанную икру из железной банки, которую можно намазывать на ломти любительской колбасы или сала (соленые огурцы и помидоры, разумеется, всегда в радость!), и уже много лет запиваем это гастрономическое величие одним и тем же сорокаградусным напитком, ни хуже ни лучше которого, по справедливому суждению В. С. Черномырдина, в мире нет.

Я и поныне храню чувство нервного восторга, обрушившегося на мою хрупкую юношескую душу, когда я впервые увидел тебя на сцене Театра имени Ленинского комсомола в незабываемой роли немецкого фашиста в штабе Гудериана, если не ошибаюсь. Там было много фашистов почему-то совершенно неарийского вида, но ты уже тогда выделялся из

массовки независимо-отчужденным видом и абсолютным презрением к чудовищному тексту. Похоже, что твой герой уже тогда — в первые годы войны — знал, кто победит, и не желал участвовать в бессмысленном сопротивлении.

Ты работал с выдающимися режиссерами — А. В. Эфросом и В. Н. Плучеком, М. А. Захаровым и Э. А. Рязановым — и сыграл в их спектаклях и фильмах удивительные роли от Людовика XIV до графа Альмавивы. Но вместе с этим ты всегда был словно сам себе режиссер. Ты нырял в текст первоклассных ролей и выбирался на сушу подмостков, сохраняя независимость и легкую надменность, которая присуща тем, кто барственно гуляет сам по себе. Будто роль кинорежиссера из поразительного эфросовского спектакля, и поныне щемящего душу, «Снимается кино» по пьесе Э. Радзинского — советский перифраз феллиниевских «8 1/2» — вошла в твою плоть, в твое бытие раз и навсегда. Феномен недовоплощенности живет во всех твоих работах, во всей твоей жизни, которая только чужим людям может показаться жизнью баловня судьбы, легким дыханием ануевского Орнифля, которого ты сыграл всем на радость. Тебя считают продолжателем традиции неунывающего Балиева, создателя бессмертного мхатовского кабаре «Летучая мышь», но Балиев не дожил до твоих лет, поэтому, наверное, в его шутках даже в пору эмиграции не было той горечи, что есть у тебя. Да к тому же Балиев не тянул такой корабль, как нынешний Театр сати-

ры, — тут уж точно не до шуточек (при всем моем почтении к коллективу!).

Твое умение быть со всеми на «ты», не обижая ни студентов, ни политиков, ни олигархов, поразительно. Это дозволялось лишь королям шутов, если их не казнили за это. Изысканная ненормативность твоей лексики не коробит даже благородных девиц, которые обожают тебя так же, как студенты, собаки, домашние и вся прочая живность, роящаяся вокруг. Понятно, что, кроме своей жены Наталии Николаевны, детей, внуков, Марка Захарова и его семьи, ты больше всего любишь удить рыбу, а вовсе не играть на сцене, но публика об этом, к счастью, не догадывается.

Увы, мы похоронили многих близких друзей, память о которых сблизила нас еще больше, и это тоже не прибавило нам веселья. Но помнишь, как звучала труба в руках Лени Каневского в «Снимается кино»? Она звала в горные выси творчества и одновременно утверждала могущество жизни. Жизни как таковой. Ни плохой, ни хорошей. Той, без которой нет искусства. Ты пронес эту мелодию в себе до сей поры — я в этом уверен. И поэтому сохранил самого себя. Ты никогда не вмещался в рамки театральных или кинематографических профессий. Ты — Александр Ширвиндт. И этим все сказано. Другого нам не надо. Да его и не может быть. Так что пусть это кино снимается долго, долго, долго...

Искренне твой,  
*Михаил Швыдкой*.

*У меня на столе в кабинете постоянно лежат  
приглашения на различные праздники  
от патриарха, муллы, раввина...  
В силу разбросанности своих верований построю  
в Ширвиндте маленькую исповедальню.*



## **СТАРО-ШИРВИНДТОВСКИЙ СПУСК**

Если сдуру начнешь осмысливать прожитое, конечно, танцевать надо от некролога. Веселенький танец — эдакий *dance macabre*. Надо зажмуриться и самому себе написать некро-

лог. Если, скажем, в нем будет строчка: «Пять лет он был художественным руководителем театра» — жидковато. А вот если там будет написано: «Это время запомнится страшным провалом спектакля «Жуть» и прогремевшим на всю Москву обзорением «Штаны наизнанку» — уже что-то. И когда так себя прочешешь, чувствуешь, что какие-то пустоты еще необходимо успеть заполнить.

Правда, никогда нельзя доверять сегодняшним впечатлениям и рецензиям — надо ждать.

Очень хороший ленинградский режиссер Бирман задумал снять «Трое в лодке, не считая собаки». Все говорили: «Вы с ума сошли! Нельзя снять «Трое в лодке...». Я тоже думаю, что есть писатели — Джером, Марк Твен, Ильф и Петров, которые потрясают своей авторской интонацией. Можно снять сюжет, ту или иную актерскую или режиссерскую версию, но авторскую интонацию снять невозможно. Однако Бирман сказал, что это будет просто фильм о трех нынешних друзьях по канве Джерома. Ну, раз по канве и раз мы три друга, — такой римейк, как сейчас принято говорить, — то мы согласились.

Поехали в город Советск, бывший Тильзит, расположенный где-то недалеко от моего города. А там начали с окрестных полей сгонять колхозников и переодевать их в лондонцев. Мы поняли, что римейк будет тот еще. Запахло

катастрофой. Когда фильм вышел, его страшно заклеямили. Но прошло столько лет, его часто повторяют и при этом говорят: «Какой милый фильм!» Надо ждать!

Я человек низкой тщеславности и всегда с состраданием и завистью смотрю на коллег моего поколения — наиболее ярких представителей «уходящей натуры» эпохи, которые задыхаются от панической жажды популярности.

Я человек спонтанно увлекающийся, такой бенгальский огонь с небольшим количеством искропроизводства, но льщу себя, что довольно ярким. Употребляя сегодняшнюю спортивную лексику — я спринтер, вынужденный бежать стайерскую дистанцию. Когда финиш — не знает никто, но ленточка уже видна.

Раньше я считал, что пенсионный возраст — вещь условная, придуманная. Но на самом деле какая-то бухгалтерия там, наверху, или социологи божественные правильно эти сроки сюда спустили.

Все должно быть вовремя. Причем каждый это понимает и говорит: «Хватит! Дорогу молодым! Устаю, ничего уже не могу аккумулировать».

Говорят — и не рыпаются с места. Упоение собственной уникальностью не является страховкой от ночных кошмаров. Самодостаточность — мастурбация существования, эдакая «ложная беременность» значимости. К старос-

ти боятся резких движений — как физических, так и смысловых. А трусость, очевидно, — это надежда, что обойдется.

Годы идут... Все чаще обращаются разные СМИ с требованиями личных воспоминаний об ушедших ровесниках. Постепенно становишься комментарием к книге чужих жизней и судеб, а память слабеет, эпизоды путаются, ибо старость — это не когда забываешь, а когда забываешь, где записал, чтобы не забыть.

Долго жить почетно, интересно, но опасно с точки зрения смещения временного сознания. Помню (все-таки помню) 90-летний юбилей великой русской актрисы Александры Александровны Яблочкиной на сцене Дома актера, который через некоторое время стал называться ее именем. В ответном слове она произнесла: «Мы... артисты Академического, Ордена Ленина, Его Императорского Величества Малого театра...»

Когда уже выбран лимит желаний и удивлений, а заторможенная скрупулезность мудрости никак не вписывается в бешеный ритм эпохи, поневоле портится настроение и возникает паника.

Я вспоминаю Володина Сашу. Замечательный мой друг. Он всю жизнь обожал кофейный ликер. Сладкая такая тормозная жидкость «победовская», но пахнувшая кофе. В Питере

его почему-то не продавали. И я ему из Москвы таскал этот ликер. Прямо из «Красной стрелы» — к нему, и в 8.30 утра мы уже завтракали «Кофейным». А потом, когда он и здесь кончился, мне его выдавали в силу узнаваемости лица из каких-то старых запасников. И вот где-то за полгода до Сашиной смерти я попал в Питер — и, как всегда, с поезда — к нему с бутылкой ликера. Саша плохо себя чувствовал, но все-таки мы сели традиционно цедить этот продукт.

— Я, — говорит, — к твоему приходу написал четверостишье:

Проснулся и выпил немного —  
Теперь просыпаться и пить.  
Дорога простерлась полого,  
Недолго осталось иттить.

Он жил трудно и счастливо, потому что никогда и нигде не изменил самому себе!

Если без позы, для меня порядочность — чтобы не было стыдно перед самим собой в районе трех часов ночи.

Попробовать хотя бы умозрительно, зажмурившись, отбросить все повседневные нужности бытия и деятельности — и с пугающей ясностью понимаешь, что потерял «адрес существования». В ужасе открываешь глаза и судорожно бежишь дальше к концу туннеля. Но все же отчаиваться не надо, если вспомнить слова сатирика Дона Аминадо: «Живите так, чтобы другим стало скучно, когда вы умрете».

...Расхожие истины всегда подозрительны, ибо их декларируют, не вдаваясь в смысл. Вот, например: «Счастливые часов не наблюдают». Вранье инфантильное! Так как счастье в основном — на стороне, то счастливые все время зыркают на часы, чтобы успеть вовремя вернуться на свое несчастное место. По мнению Оппенгеймера, счастливыми на Земле могут быть только женщины, дети, животные и сумасшедшие. Значит, наш мужской удел — делать перечисленных счастливыми.

Что касается женщин, то наступает страшное возрастное время, когда с ними приходится дружить. Так как навыков нет, то работа эта трудная. Поневоле тянет на бесперспективное кокетство. С партнершами по театру дружить опасно — могут использовать в корыстных целях, а самостоятельных дам — наперечет.

Вот Люся Гурченко — удивительная актриса, человек, живущий в ощущении круглосуточного ожидания предательства. Она столько в жизни его нахлебалась, что теперь подчас «дует на воду». Дружить с ней сложно, но очень хочется.

Конечно, все гениальное — просто, когда под рукой есть гений.

Моя любимая подруга Леночка Чайковская глобальной силой воздействия на мою жизнь держит меня на плаву. Она меня одевает, примеряя на очаровательного мужа Толю пиджаки и куртки во всех городах мира, где еще не растаял лед и сохранилось фигурное катание. Если учесть, что Толя на пять размеров изящнее меня, то примерки производятся с при-

кидкой на вырост. Она знает, что мне есть, где лечиться, где отдыхать, с кем дружить, чего остерегаться. Она единственная в мире открыто говорит, что я — гений. И я слушаюсь.

Всяческие мемуары и воспоминания, как бы они ни были самоироничны, пахнут меркантильностью. Как ни крути, но воспоминатель подсознательно хочет заполучить дивиденды с биографии.

Верить почти некому — критическая когорта у нас какая-то странная. По отдельности общаешься — разные, подчас самобытно-интересные личности. Попадают даже грамотные. Но стоит им собраться вместе — моментально образуется «клубок». Безапелляционность и витиеватые издевательства. Эти пираньи пера в газетной соревновательности превращаются в мелких насекомых на многострадальном лобке театрального организма. Это молодая «критическая мысль». А старики, чтобы не быть выкинутыми из театрального процесса, вынуждены становиться желчными Пименами истории сплетен советского театроведения.

Бессознательно льстишь самому себе. Но сурово и честно или — еще пошлее — по большому счету (кто этот счет ведет?) думаю, что самая точная аналогия со мной — это Л.М. Зингерталя, под фотографией которого в какой-то одесской книжке начала прошлого века написано: «Зингерталя — известный

одесский салонный юморист и импровизатор».

Я столько в длинной профессиональной жизни навякал смешного! Ах, если бы кто-нибудь догадался, что это может стать афоризмом, и записывал за мной, то, ей-богу, потомки присовокупили бы меня к лику Раневской, Светлова, Паперного... Обидно — аж жуть!

Недавно, например, с болью услышал, что Жванецкий когда-то сказал: «Театр — террариум единомышленников».

Я это сказал! Я! На десятилетнем юбилее «Современника». Есть еще полуживые свидетели.

Но это — патология мгновенной смысловой реакции на ситуацию. Или конкретная мини-задача — отписать кому-то ответ, открыточку, поздравление, сдобрить надписью скромный подарок.

Сегодня все судорожно ищут национальную идею. Боятся быть темными и старомодными. Похерив марксизм-ленинизм, заблудившись между развитым социализмом и социализмом с человеческим лицом, примеряем то китайскую, то шведскую, то американскую модель на свои нечерноземные плечи. Родину нельзя примерять — надо носить, какая есть.

Куда бы нас ни швыряло испокон веков, мы возвращались к родной идеологии. Русская идея — это «пиздодуйство» (упаси бог спутать с распиздяйством): открытость, искренность, оголтелая широта и родной язык.

«Чего ты материшься?» — ужасаются некоторые. Да не матерюсь я, а разговариваю на родном языке. Просто надо в совершенстве им владеть.

Покойный Георгий Павлович Менглет был замечательный, необыкновенно артистичный матерщинник. Играя Баяна в «Клопе» или господина Дюруа, он умудрялся разбавлять текст матерком. И ни один зритель не мог заподозрить, что мопассановский герой ругается матом — так это было лихо и чисто.

Конечно, в незнакомых, ханжеских компаниях надо быть осторожным. Сначала проверить степень отторжения слушателя через невинное слово «сука». Если проскочило, то уже идешь дальше.

Раньше мы проходили как самая читающая страна. И действительно, все читали запоем, то есть много, вздох и профессионально, ибо запой — это великий менталитет нашей и только нашей страны. А сегодня мы становимся самой считающей страной в мире. Но так как считать мы начали недавно, то есть поздно, то картина жутковатая, варварски непрофессиональная. Вот замуровать бы все нефтяные скважины, развеять весь газ по ветру, зажечь родную лучину около не менее родного камелька, открыть родную книжку: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» Где же кружка?

Все время ловил себя на мысли, что я совсем перестаю себе нравиться. Что случилось? Наконец понял: надоело быть хорошим чело-

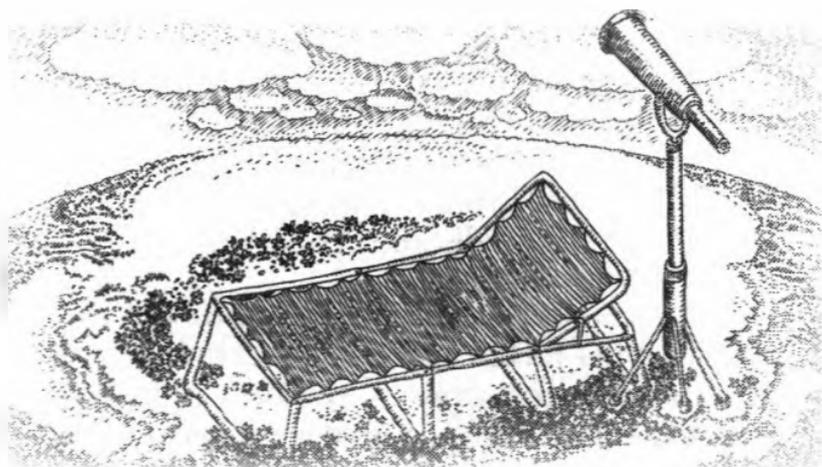
веком! Немодно, нерентабельно, а подчас просто стыдно!

В конце прошлого века я попытался зарифмовать свое самоощущение.

Я живу по инерции,  
Пунктуальность кляня.  
Даже отблеск потенции  
Не волнует меня.  
Закодирован «нужностью»  
Мой усталый забег,  
Поплавок не колышет  
Обезрыбленных рек.  
Внешне выгляжу молодо,  
Но немеет стопа.  
Нет ни жажды, ни холода,  
Значит, я — скорлупа!  
До чего ж приблизительно  
Сотворен человек,  
Но придется презрительно  
Доживать этот век.

Дожил! А так как проскочить наступивший век не удастся, будем мужественны.

*Строю, восстанавливаю, возвожу прошлое, щедро  
и недорого раздаю жилплощадь друзьям  
и учреждениям — так, глядишь, и себе ничего  
не достанется — городок-то небольшой.*



## ← ПУСТЫРЬ НАДЕЖДЫ →

Семья у меня замечательная, но жить вместе сейчас архаично и чревато раздражением. Основной раздражитель — я: все время ору и требую знать, где в любую минуту находятся родственники, а они в ответ вынуждены меня

любить — вздохнут и любят. Правда, Михаил Александрович Ширвиндт как-то справедливо заметил, что я ору только на тех, кого люблю: чем громче крик — тем сильнее чувство. С людьми, мне безразличными, я тих и интеллигентен.

Стаж моих семейных уз зашкаливает за границы разумного. Я женат де-юре 48 лет, а де-факто — 56. За это время жена успела побывать в школе, в институте, ведущим архитектором Центрального института спортивных и зрелищных сооружений имени Мезенцева и пенсионеркой. В Омске я с гордостью гастролировал в театре, построенном по проекту Наталии Николаевны, где — впервые в истории мирового театростроения — в каждой гримерной есть душ. Она насмотрелась на артистов после спектакля!

Уважаемейший и солиднейший академик архитектуры Владимир Николаевич Белоусов (по совместительству — родной брат моей жены), будучи с делегацией в Омске, показал на музыкальный театр и сказал, что он спроектирован его сестрой. На что местное руководство аккуратно и стыдливо шепнуло ему, что театр построен не его сестрой, а женой Ширвиндта. Руководству и в голову не могло прийти, что это совместимо.

Надо урвать у самого себя побольше земли и создать родовое поместье с учетом накопленных индивидуальных привычек и мечт.

Конечно, в центре застройки будет большой барский дом, очевидно, с каминами, банями, двумя гаражами, зарыбленным и за-

росшим прудом, массой террас и английских газонов. Все это воздвигнет моя любимая невестка Танечка — опыт у нее огромный.

Вот ирония судьбы: моя любимая невестка — дочь Павлика Морозова. Она — Татьяна Павловна Морозова! Более нелепого совпадения трудно себе представить. Нежное, трогательное, заботливое существо. А уж предательство там эмбрионально не ночевало. Красивая, пластичная, музыкальная, хорошая актриса — и все это она бросила на алтарь семьи. Счастлив, что в спектре ее волнений существую и я. Думаю, она посадит у забора мои любимые анютины глазки, что делала уже неоднократно в разных садах и огородах.

Михаил Александрович из непредсказуемого ребенка превратился в большого, солидного дядьку. Он трудоголик — это, пожалуй, самый очевидный мой ген в его организме — остальные можно только подозревать, поскольку он в отличие от меня выдержан, спокоен, мудр и доброжелателен. Он умеет стойко дружить, и его компания мне крайне симпатична. Ему хорошо бы построить прямо на территории поместья большую телестудию, где он мог бы снимать (без вкусовых перепадов начальства) любые живые новости про собак, натуралистов и поваров. Страсть к хорошей кухне довела его до полуавантюристической затеи с открытием ресторана «Штольц», что на Саввинской набережной, где очень вкусно (это реклама) и где я имею 30-процентную скидку, что еще вкуснее.

В дальнем углу участка, в полной звуковой изоляции, должен находиться строгий бункер в немецком стиле для работы и проживания старшего внука Андрюши.

Внук у нас личность, образовавшаяся вразрез с вековыми наследственными тенденциями семьи, и поэтому наше семейство смотрит на него с почтительным ужасом и страстной любовью.

Он учился в Российском государственном гуманитарном университете на факультете истории, политологии и права и сегодня является магистром права (LLM) Манчестерского университета, аспирантом Института государства и права РАН, адвокатом конторы «Борис Кузнецов и партнеры». Он знает пять языков: немецкий, английский — в совершенстве, французский — свободно, итальянский — бегло, латынь — со словарем. Он пишет сейчас диссертацию и подумывает бросить адвокатуру и заняться чистой наукой. Это настораживает, ибо кто же нас будет тогда защищать?

Так же изолированно необходимо разместить уютный «итальянский дворик» для младшей внучки Александры Михайловны. Она у нас хоть и красавица, но умная и самостоятельная. Почему-то выбрала себе любимую страну — Италию и шастает туда при любой возможности. Со мной сурова, но справедлива, при каждом свидании рисует свою визитную карточку в виде странного существа под названием мамул. У меня этих мамулов — навалом: дома, в машине, в кабинете, в карманах...



Мамуе *НШЗ*

Наталия Николаевна сама построит себе дом, по собственному проекту, — очевидно, смахивающий на их родовое имение в Новом Иерусалиме под Истрой, где сегодня проживает вышеперечисленное сообщество. Знаю только, что там обязательно будет заповедник для опят и шампиньонов, полное собрание кроссвордов всех времен и народов, огромное количество пустой тары (судки, банки, коробки, целлофановые пакеты...) для складирования продуктов и дальнейшего разноса по внукам и, конечно, несколько морозильных камер для стратегической заготовки пойманных мною карпов с целью фарширования на случай гостей и войны.

Для себя я мечтал бы иметь в каждом из обиталищ по маленькому флигельку с раскладушкой, где я перманентно подкладывался бы под бочок то одних, то других. А лучше всего посадить меня в раскладное кресло посреди

усадьбы, чтобы было видно все сразу, и чтобы мимо остервенело, с палками наперевес, мчались наши собаки — лабрадор Чес и вест-хайленд-уайт-терьер Микки, и чтобы бессонными ночами из этого кресла можно было смотреть на звезды.

У меня ведь и личная звезда есть. Раньше, когда планеты еще не покупали, система была такая: где-то в астрономической лаборатории сидела большеглазая, очевидно, не востребованная на Земле девушка и круглые сутки смотрела в телескоп. Потом вдруг кричала: «Ой, я открыла новую звезду! В созвездии Бзи левее Бза вижу Бзу!» Проверяли: есть ли там какая-то фигня микроскопическая? Тот, кто эту звездочку разглядел, мог сказать: «Я бы хотел, чтобы ее назвали Ширвиндт», и несколько инстанций, в том числе американская, утверждали название. У меня есть сертификат. Уже лет двадцать я имею собственную площадь в космосе и «летаю» где-то недалеко от звезды по имени Хармс. Чем очень горжусь.

Малая планета под названием «Александр Ширвиндт» — всего 10 км в длину. Немного! Но в случае апокалипсиса на Земле и вторичной гибели города Ширвиндта можно туда рвануть и построить элитный дачный поселок типа космического Ноева ковчега.

...Прошелся глазами по новостройке и ужаснулся! Здесь замахнулся, но не потянул. Здесь намекнул, но испугался (гарантия качества только в том, что нет ни одного кирпича

вранья). Что делать? Осваивать город Ширвиндт дальше? И тут спасительно вспомнил великий анекдот про парикмахера, который покончил с собой, написав предсмертную записку: «Всех не переброешь».

Оставляю большой пустырь. Пусть достраивают те, ради которых живу.



# Ширвиндт Александр Анатольевич

## ШИРВИНДТ, СТЕРТЫЙ С ЛИЦА ЗЕМЛИ

Ответственный редактор *М. Яновская*  
Редактор *Ю. Ларина*  
Художественный редактор *А. Мусин*  
Технический редактор *Н. Носова*  
Компьютерная верстка *Т. Комарова*  
Корректор *З. Харитонова*

ООО «Издательство «Эксмо»  
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

**Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:**  
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,  
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.  
E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

**Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:**

**В Санкт-Петербурге:** ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.  
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82.

**В Нижнем Новгороде:** ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.  
Тел. (8312) 72-36-70.

**В Казани:** ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8435) 70-40-45/46.

**В Самаре:** ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.

**В Екатеринбурге:** ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.  
Тел. (343) 378-49-45.

**В Киеве:** ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 537-35-52.

**Во Львове:** Торговое Представительство ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.  
Тел./факс (032) 245-00-19.

**Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:**  
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.  
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15, 780-58-34.

Информация по канцтоварам: [www.eksmo-kanc.ru](http://www.eksmo-kanc.ru) e-mail: [kanc@eksmo-sale.ru](mailto:kanc@eksmo-sale.ru)

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:**

**В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:**  
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.  
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

**В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:**  
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»  
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

Подписано в печать 16.03.2006.  
Формат 84х100 1/32. Гарнитура «Гарамонд».  
Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 10,14.  
Тираж 7100 экз. Заказ № 2798.

Отпечатано в полном соответствии  
с качеством предоставленных диапозитивов  
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.



 The  
Seattle  
Public  
Library



0 01 00 9423670 9



Эрист Неизвестный как-то заметил, что  
если мощность накала лампочки принято  
измерять в ваттах, то мощность таланта следует  
измерять в «моцартах».

Надо успеть сказать о моцартах, случившихся  
в моей жизни в эту подозрительную  
сальериевскую эпоху...

ISBN 5-699-15458-2



9 785699 154586 >

SCHIRWINDT